



Андрей Белов

Березовый сок

Рассказы

2024

18+

Андрей Викторович Белов

Березовый сок. Рассказы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70489222
SelfPub; 2024

Аннотация

Книга «Березовый сок. Рассказы» является логическим продолжением предыдущей книги автора «Русская душа. Рассказы. Избранное». В своих рассказах автор пытается понять душу русского человека, оказавшегося на изломе истории. Рассказы написаны в жанре психологического рассказа и объединены одной темой: противостояние человека и жизненных обстоятельств. Герои этих произведений – обычные люди, живущие среди нас: старик, священник, домохозяйка, монах, бомж, военнослужащий, бизнесмен, иконописец, начальник цеха, таежник и многие другие. Каждому из них приходится делать тот или иной выбор в непростых ситуациях и принимать решения, определяющие их судьбу. Первый рассказ «Начало. Притча» является своеобразным прологом к книге.

Содержание

Лолита	4
Начало. Притча	21
Березовый сок	28
Родная душа	36
Монах	46
Бесы. Огни большого города	82
Шаг в вечность	103
Традиции	141
Хмурое утро	151
Чужие люди	159
Старожил	190

Андрей Белов

Березовый сок. Рассказы

Лолита

«Обычно я возвращался из поселка в город с началом осени, но в тот год я без каких-либо сомнений решил остаться рядом с природой до холодов. Хотя домик был очень скромных размеров, в нем имелось все необходимое для жизни, в том числе и печка, что позволяло мне уединяться здесь даже зимой, когда мысли переполняли меня. Причиной нежелания уезжать отсюда был мой юбилей той осенью. Количество прожитых лет было настолько пугающим, что даже про себя я старался не произносить это число, и уж совсем неуместным и странным я считал поздравления с этим событием, а потому до тех пор, пока про меня наконец-то забудут, я решил вести отшельнический образ жизни, отключив телефон и электронную почту. В поселке мой возраст никто не знал, и я чувствовал себя здесь уютно и спокойно.

Та осень была удивительная: тепло держалось весь октябрь. Казалось, время остановилось и затянувшееся бабье лето позволяло не считать дни до окончания тепла, а не спеша наблюдать, как с достоинством и даже величием природа

прощалась с летом и готовилась к встрече с зимой, и радоваться – радоваться, как в детстве, от того, что просто живешь и что жизнь, скорее всего, бесконечна. Но мир вокруг не был застывшим, как спящая красавица: каждое утро все вокруг просыпалось и радовалось своей же красоте и вечной молодости, заявляя о себе множеством неугомонных птичьих голосов, шелестом листьев и трав и белыми кучерявыми и манящими куда-то далеко-далеко облаками. Удивительным было и то, что у берез, как никогда прежде, в сентябре опали все листья, и деревья своим сиротливым видом среди этого праздника жизни неприлично напоминали всем тем, кто собирался жить вечно – так уж устроен человек, – что холода обязательно придут и зима неизбежно наступит. Бывало, взглянув на белые сарафанчики берез, перестаешь удивляться, почему нет-нет да и охватывает русского человека необъяснимая грусть и тоска и почему ночью, именно в полнолуние, так тянет выйти из дома, поднять голову и застыть, вкладывая в эти звуки понимание бренности и конечности жизни, идущее из таких глубин веков и сознания, куда и заглянуть-то страшно – страшно, что можно оттуда и не вернуться. Да, красота русских березок удивительна: смотришь, радуешься, понимаешь, что это твое родное и... грустишь, и не можешь понять, почему. Именно это сочетание радости и грусти, как сочетание сахара и соли, наполняет твое отношение к Родине любовью.

В то раннее утро, когда поселок еще не показывал признаков жизни, я сидел на ступеньках крыльца и ждал, когда мир проснется. Первыми на улице появилась бригада таджиков.

— Ас-саляму алайкум! — с поклоном обратились они в мою сторону.

Некоторых из них я знал уже много лет, с того времени, когда они приехали в Россию на заработки. Вместе мы читали Коран и разбирались в тонкостях Ислама. С тех пор с их диаспорой у меня сложились уважительные отношения.

— И вам мир, — ответил я.

Вскоре поселок начал оживать. На центральной улице послышался детский гомон. Дети радовались, что настал выходной и они вырвались наконец-то из городских душных школьных будней.

При виде веселой детворы, только начинаящей свой жизненный путь, все мысли куда-то рассеялись и, улыбаясь, я стал смотреть на эту картину торжества жизни; тихо и проникновенно в душе зазвучала великая музыка Томазо Альбинони...

Вдруг я услышал детский голосок, который, как оказалось позже, перевернул всю мою дальнейшую жизнь:

— Здравствуйте!

Во мне что-то вспыхнуло и это что-то пронеслось от головы к груди, и я сразу же понял, что оно — это «что-то», там, около сердца, и останется со мной навсегда, настолько

этот голосок совпал с внутренними колебаниями моей души – души, искавшей всю свою долгую жизнь нечто и так и не нашедшей его. А нечто и не надо было искать, мучаясь в сомнениях, встречаясь и с разочарованием расставаясь каждый раз. Может, надо было просто подождать много-много лет, когда оно само найдет тебя?

Обернувшись на голос, я увидел, как совсем юная девочка лет двенадцати быстро проехала на велосипеде мимо моего дома. На мгновение она повернула голову и взглянула на меня. Глаза! Я был готов увидеть обычный взгляд ребенка, но, встретившись глазами, так и остался неподвижно сидеть на крыльце, молча глядя, как все дальше и дальше между деревьев мелькает ее платьице.

«Лолита» – первое, что почему-то возникло в моей голове.

Выходить на дорогу не было смысла, она была уже далеко. Так повторилось несколько раз: проезжая мимо, Лолита мило улыбалась, здоровалась и уносилась прочь.

Наконец я вышел за калитку и встал на обочину дороги, надеясь, что девочка еще появится. Действительно, через некоторое время я увидел, что она приближается. На этот раз Лолита остановилась недалеко от меня. Она смотрела растерянными глазами, виновато улыбаясь, не произнеся ни слова, но по ее виду было понятно, что она ждала этой встречи – ждала, когда я наконец-то догадаюсь выйти ей навстречу. Я подошел ближе и теперь уже хорошо разглядел ее. Так, мол-

ча, мы смотрели друг на друга достаточно долго. Не сказать, что она была внешне красива, но чем-то необъяснимым притягивала мой взгляд к себе и не отпускала его.

«Роковая женщина, — мелькнула мысль, и тут же я взорвал сам себе. — Так ведь она еще совсем ребенок! — подумал я и вновь взразил. — И что из того? Может, то — роковое — рождается вместе с человеком и некоторым из них уготовано быть роковыми? Впрочем, возможно, только я так ее вижу, и это только для меня!»

Наконец я улыбнулся. Она тоже улыбнулась, и оба поняли, что теперь мы друзья.

Молча смотрел я в ее глаза и видел, что этот взгляд, когда она вырастет, будет обещать бесконечную любовь и преданность только тому, на кого обращен, и манить куда-то далеко-далеко, к тому, что кроме как Раem и не назовешь. Каждый раз, встречая в своей жизни таких женщин, я влюблялся как мальчишка, и каждый раз любовь была безответной и приносила только разочарование. Очевидно, мой взгляд был самым обычным и ничего рокового в нем не было.

Она по-прежнему смотрела на меня, не произнося ни слова.

— Как вас зовут? — спросил я, сразу же начав обращаться к ней на Вы, пытаясь стереть или хотя бы сгладить огромную разницу в возрасте.

— Мария, — уже уверенней сказала она, поняв, что к ней

обращаются на равных.

Имя настолько подходило девочке, что я был потрясен, услышав его.

«Мария!.. Да, Да... Именно Мария. Наверное, никакое другое имя ей бы и не подошло. Самое святое имя за всю библейскую историю, – пронеслось у меня в голове, и я с нежностью повторил про себя. – Ма-а-р-и-и-я».

– Вы здесь первый год? Я вас никогда не видел.

– Раньше на все лето меня отправляли к бабушке, – виновато ответила она, будто оправдываясь передо мной.

Мы еще постояли некоторое время, молча улыбаясь, глядя друг на друга, и затем она, не прощаясь, стала удаляться, ведя велосипед рядом с собой.

Я смотрел ей вслед. Несмотря на ее детскую угловатость, жизненный опыт позволял мне представить, какая она будет, когда повзрослеет: длинные ноги, хотя и не высокая, острые грудь, покачивающиеся бедра, гордо поднятая голова, резкие, но грациозные движения и... невинные ангельские глаза, заглянув в которые, понимаешь, что уже никогда тебе не полюбить другую женщину.

Да, я смотрел ей вслед с радостью в душе – с радостью просто от того, что мы есть на этом свете: она и я, и что мы наконец-то встретились.

В этот день она еще дважды проходила мимо моей калитки и каждый раз здоровалась, наверное, боясь, что я не обращу на нее внимание.

«Ох, милая Мария! Знала бы ты, что я не только обязательно замечу тебя, но теперь буду постоянно ждать, когда вновь увижу тебя!»

Забегая вперед, скажу, что для меня навсегда так и осталось загадкой, почему двенадцатилетняя девочка обратила внимание именно на меня. Очень хотелось думать о любви, но мысль эта настолько поражала меня, что я встряхивал головой и старался больше не думать об этом. Когда женщина любит, то подсознательно имеет в виду, что хочет иметь детей от этого мужчины, хочет создать с ним семью, прожить с ним всю жизнь и «умереть в один день».

Могло ли все это быть у двенадцатилетней девочки? Думаю, нет!

Ночью я спал беспокойно. Во сне видел, как медленно приближаюсь к Марии, стоящей на дороге, и вдруг некая сила уносит меня от нее вдаль, напоминая этим о моем возрасте и приводя меня в отчаяние. В эти мгновения слезы давили меня изнутри, не в силах вырваться наружу, может быть, потому что к старости я разучился плакать. Когда же я вновь приближался к девочке, то те же слезы уже выражали бесконечную радость и, наконец вырвавшись на свободу, стекали по моим щекам. Так повторялось почти всю ночь, пока еще затемно, измученный виденным и без сил, я окончательно не проснулся и лежа на спине не стал бессмысленно смотреть вверх. Может, меня вновь охватил сон, может, в го-

лове у меня начало мутиться, но потолок надо мной стал терять четкие очертания и через короткое время исчез совсем. Теперь я лежал под звездным небом и постепенно успокаивался; наконец нашлись те слова, которые выражали мое состояние:

— «Как же прекрасно, что в этом мире существуют звезды и... Мария! Значит, несмотря на мой возраст, в этой жизни еще есть смысл!»

Мелькнула мысль о том, что настанет ноябрь, Мария уедет и, может быть, мне уже никогда не суждено увидеть ее. В лучшем случае встреча возможна только весной, но до этого надо еще дожить.

— «А ведь октябрь обязательно закончится!» — подумал я, и мне стало холодно и одиноко.

И вдруг!.. Впоследствии, вспоминая ту ночь, я готов был поклясться, что небо вдруг исчезло — исчезло совсем. Там, где оно только что было, не стало ничего — ничего, о чем я мог бы сейчас здесь упомянуть. Мой взгляд теперь не упирался ни в небосвод, ни в звезды: я смотрел в бесконечность.

Я заглянул в начало времен, когда и самой Вселенной еще не было. Ужас стал охватывать все мое существо. Я понимал, что надо отвести взгляд в сторону и смотреть на то, что реально существует, например, стены комнаты, письменный стол, исписанный листок бумаги, лежащий на нем... Понимал — и не мог даже пошевелиться, настолько сознание мое было парализовано величием того, что я видел, и понима-

нием, насколько я и все мои проблемы ничтожны – ничтожно все... кроме любви. Через какое-то время я почувствовал, что что-то начало меняться: стали проявляться звезды, а вместе с ними, пересекая все небо с запада на восток, появились глаза... Марии. Ее взгляд выражал бесконечную любовь! Я снова осознал, что жив. Каждый из нас удивленно смотрел другому в глаза, без слов спрашивая:

«Почему я здесь и как это возможно? Мы есть или нас нет?»

Начинало светать. Взгляд Марии обратился на восток, и, как только блеснул первый луч Солнца, глаза ее в последний раз посмотрели на меня. Через мгновение исчезли и глаза, и звезды. Только я остался по-прежнему лежать, глядя на светлеющее небо.

Да, я понял, что влюбился – влюбился первый раз в своей жизни и, вспоминая взгляд Марии, радовался, что она была влюблена в старика, хотя и осознавал, что все это лишь видение или сон. Сколько я ни напрягал голову, но осознать, что значит любовь в понимании двенадцатилетней девочки, так и не смог. Да и важно ли для меня было это? Наверное, нет. Главное – любил я!

Еще долго лежал я с открытыми глазами, не видя перед собой ничего; взгляд был обращен внутрь меня – туда, где была душа. Лежал и думал о вечном: о любви мужчины и

женщины. Наша с Марией любовь была любовью старика, которому уже не нужны были другие отношения, кроме духовных, и любовью девочки, у которой еще не проснулся материнский инстинкт – и проснется совсем не скоро – и которая, если уже сейчас и осознает себя женщиной, то только на подсознательном уровне, идущем из начала времен, когда Всевышний, создавая Женщину, вложил в нее это понимание.

Я прожил жизнь, считая, как и люди, окружавшие меня, что близость мужчины и женщины – часть истинной любви, а может, и сама суть любви, ее вершина, предполагающая слияние двух тел в одно целое, и думая, что так устроено Богом: на то, мол, и даден человеку Великий инстинкт продолжения рода и великое предназначение оставить жизнь после себя...

В памяти всплыли мои рассуждения о любви, когда я был еще подростком. Кое-кто из мальчишек уже начал хвастаться тем, что познал женскую любовь, я же считал любовь чем-то святым и возвышенным, и, как я считал, нельзя было унизить это чувство близостью. Мальчишки смеялись надо мной, считали меня чудаком, и я перестал вслух говорить об этом. Позже я не стал рассуждать на эту тему и, став взрослым, жил как все: встречал кого-то, влюблялся, расставался, и все повторялось вновь. И каждый раз с возникновением отношений любовь постепенно уходила!

Сейчас, когда я уже стариk, во мне возникают те же мысли, что и в отрочестве, о том, что любви нужна только лю-

бовь – такой ее создал Всевышний, а для выполнения великого замысла Божьего: заселить Землю и продолжать род человеческий, Он привлек Дьявола.

«Может быть, на самом деле устами младенца гласила истина?» – подумал я, вспоминая свои размышления тогда, еще в начале своего жизненного пути.

Окончательно запутавшись, я понял главное: отныне смысл моей жизни был в том, чтобы ежедневно видеть Марию. Я стал часто гулять по поселку и обязательно заходил к детской площадке и какое-то время сидел на скамейке, краем глаза наблюдая за Марией. Иногда мы случайно встречались на улице, и она обязательно останавливалась, слезала с велосипеда, и мы долго разговаривали.

Октябрь был уже на исходе, приближался ноябрь, и на выходные дни детей приезжало все меньше. Мария перестала ходить на детскую площадку и с дороги звала меня погулять. Я с плохо скрываемой радостью выходил за калитку, и мы бродили по улочкам поселка, разговаривали. Моя жизнь снова, как и много лет назад, приобрела смысл – смысл, который заключался в самой жизни. Я вновь ощущал, что живу полноценной жизнью. Иногда набегала легкая грусть от понимания того, что холода неизбежно наступят и вернется одиночество. Я гнал от себя эти мысли.

На окраине поселка среди ив и камышей прятался краси-

вый прудик, когда-то предназначенный для купания, сейчас же настолько заросший, что напоминал омут на известной картине Васнецова. Гуляя, мы иногда доходили до этого места, садились на скамеечку, неизвестно, когда и как появившуюся здесь, и молча любовались красивым видом, думая каждый о своем. Иногда Мария садилась у самой воды, обхватив колени, и напоминала ту самую Аленушку. Она могла так долго сидеть и молчать, глядя на воду. Я смотрел на нее и любовался потрясающей женственностью этого юного создания.

Неожиданно, выйдя из оцепенения, она начинала говорить. У нее было множество вопросов и многие из них были о взаимоотношении женщин и мужчин. Отвечая, мне приходилось тщательно подбирать слова, делая длинные паузы, чтобы сохранить ее ощущение мира, как прекрасного, чистого и ждущего именно ее. Раскрыв широко глаза, она терпеливо ждала, когда я продолжу говорить, и, казалось, впитывала в себя каждое мое слово.

Как-то, сидя рядом со мной, Мария спросила:

– А что такое любовь?

Я долго подбирал слова и, когда уже хотел начать говорить, повернул голову и посмотрел на Марию. Ее глаза были рядом и выражали полное доверие. В мою молодость это означало неизбежный поцелуй. Время остановилось для меня, и не могу сказать, сколько времени мы смотрели глаза в глаза. Наконец Мария положила голову на мое плечо и за-

крыла глаза. Уснула! Губы ее слегка шевелились, на лице угадывалась чуть уловимая улыбка. Очевидно, ей снилось что-то очень хорошее. Мне стало ясно, что вопрос она задала уже во сне, хотя глаза ее и были еще открыты. Я поцеловал ее в щеку и затем сидел, не шевелясь, боясь прервать детские грезы.

Неожиданно на мое плечо легла мужская рука. Я внутренне напрягся и, повернув голову, увидел отца Марии. Рядом с ним стояла ее мама. Они улыбались, и я облегченно вздохнул. Мы не были знакомы, хотя я не раз собирался зайти к ним домой, но все откладывал, опасаясь, что меня могут неправильно понять.

– Спасибо, – услышал я шепот ее мамы. – Благодаря общению с вами, в последнее время Маша очень изменилась: по-взрослела, отвечая, стала тщательно подбирать слова, много читать и не задает глупых вопросов.

Они разбудили дочь и пошли обратно в поселок. Мария шла с полузакрытыми глазами, продолжая спать на ходу. Я еще долго оставался у пруда. Мне не хотелось возвращаться к себе. Избушка казалась мне пустой и холодной, и у меня не было душевых сил заполнить ее собой и своими мыслями, как раньше, и вдохнуть в нее жизнь.

Как ни гнал я от себя мысли о том, что дачный сезон закончится, этот день настал.

В то утро на ветках деревьев и на еще не опавших листьях

появилась изморозь. Прилетели первые снегири. Наступало время, отличающееся своей тихой и задумчивой красотой.

Когда часы уже показывали больше десяти (в это время она обычно приходила звать меня на прогулку), я пошел к их дому. На калитке висел замок; окна были закрыты ставнями, на участке не было ни веревок для белья, ни мячиков, обычно разбросанных то тут, то там. Мне стало ясно, что все они уехали еще рано утром. Я вспомнил, что вчера, когда мы расставались, Мария обняла меня, и мы долго стояли молча. Затем также молча она повернулась и ушла.

«Так и не решилась сказать, что они уезжают, пожалела старика. Эх, милая моя девочка, знала бы ты, что оказаться, как сейчас, у закрытых ворот гораздо тяжелее, чем заранее знать, что ты уезжаешь!»

«Увидимся ли, Мария?..»

В конце ноября в поселок вместе с тремя грузовыми машинами приехал ее отец. Грузили все, и стало ясно, что да-чу продали. Каждый день приходил я к закрытой калитке, смотрел на брошенные старые качели и вспоминал счастливые для меня дни. Через неделю появились новые хозяева. Я попросил отдать мне качели, на что они сразу же согласились.

Теперь я часто сижу на качелях на полянке около своей избушки, смотрю на небо, на серые облака, качающиеся мне

в такт, и размышляю о том, что все-таки судьба, хотя и на склоне лет, но дала мне то, без чего большинство проживает всю жизнь – ЛЮБОВЬ! И я благодарен ей за это!

«ЛЮБОВЬ? Никто и никогда не сможет определить, что это такое, ведь нет и не может быть единого понимания этого чувства: у каждого свое понимание любви, потому и возникает счастье, когда...

Больше я Марию не встречал».

Семен Степанович замолчал, поднял взгляд к небу и так и стоял, слегка улыбаясь счастливой улыбкой. Вид его вызывал у меня двоякое чувство: я понимал человека, которому посчастливилось наконец-то встретить настоящую любовь, которую он ждал всю жизнь, но и мысли о безумии сами напрашивались. Хо-т-я-я... Что, как не безумие, и есть эта самая Любовь?

Костер давно погас, и только редкие искры срывались с еще тлевших углей и уносились к звездам, куда, мечтая по ночам, любил обращать свой взор сам рассказчик. Мы еще долго сидели у потухшего костра, не в силах вот так сразу постичь глубину чувств нашего друга, потрясенные душевными силами, таящимися в этом человеке, несмотря на старость.

Я привел его рассказ так, как мне удалось запомнить.

Прошло время с той встречи у костра, и как-то в один из ноябрьских дней я стоял на полянке возле своего домика и ждал появления белки, которая каждый день с рассветом пробегала от столба к столбу по проводам, тянувшимся в сторону пруда. Я не знал, куда и зачем она с таким постоянством направлялась, но вечером, когда начинало смеркаться, белка возвращалась обратно в сторону леса, и было понятно, что там ее дом.

Ждал я недолго. В этот раз белка остановилась около столба, что стоял на обочине дороги возле перекрестка четырех поселковых дорог, и замерла. Было очевидно, что она чего-то ждет. Вскоре с другой стороны по проводу, идущему вдоль бокового проезда к столбу, прибежал самец белки. Встретившись, они долго стояли нос к носу. Наконец белка развернулась и, пробежав немного назад, юркнула в густые еловые ветки. Самец, постояв немного, глядя ей вслед, развернулся и побежал обратно туда, откуда и пришел. Тут же из еловых зарослей выскочила самка и бросилась за ним. Я с удивлением продолжал наблюдать, ожидая продолжения этого пока еще неудачного свидания. Не успел я выкурить сигарету, как передо мной предстала следующая картина: обратно от леса самец, оглядываясь назад и, казалось, нехотя, возвращался к месту свидания, а за ним внимательно наблюдая, похоже, чтобы тот куда-нибудь не увильнул, шла та самая самка. Так парочка дошла до еловых зарослей и скры-

лась в них. Крайне удивленный, я продолжал смотреть на еловые заросли.

«Сейчас уже осень, и брачный период у белок давно закончился! – попытался осознать я то, что увидел. – Так это не великий инстинкт продолжения рода, благодаря которому в этом мире, сменяя поколение за поколением, жизнь непрерывно продолжается! Тогда что же? Неужели любовь? У животных? Не может быть!.. Впрочем, а почему нет?..»

Запутавшись, я перестал думать о беличьей паре и закурил еще одну сигарету.

Впрочем, это другая история и об этом я расскажу какнибудь в следующий раз.

Начало. Притча

Гавриил смотрел сверху на приближающиеся тучи, и, как всегда, перед тем как на Землю проливался дождь, он испытывал необъяснимую грусть. «Вроде все правильно, но что-то не так?» – думал Архангел.

Он молча наблюдал, как Адам, сидя на камне, облизывая иссохшие губы, пытался вытащить колючку, впившуюся в его ступню. Одинокая слеза сорвалась с щеки Гавриила и упала на иссохшую землю. С этой капли начался дождь – первый за долгое время, еще слабый, моросящий, но уже раздующий душу человека, живущего там, внизу, и вселяющий веру в то, что вскоре приближающиеся черные облака прольются ливнем и вновь оживят землю. Звери и птицы тоже замерли в ожидании. Полуувядшие листья на деревьях слегка затрепетали. «Вот и на этот раз смерть отступила», – подумал Адам.

Он с надеждой посмотрел на небо, взгляд его теплел и уже не был суровым взором человека, живущего в постоянной борьбе с окружающим миром. Морщинки в уголках его глаз начали разглаживаться. «Да! Он изгнал нас из Эдема. Да! Тяжело жить в этом мире! Но другого мира нет, есть только этот! Значит надо жить и бороться. Верю, что Он по-прежнему любит нас и не даст нам погибнуть».

– Стариk, ты видишь то, что вижу я? – спросил Гавриил, не поворачивая головы.

Господь давно уже привык не обращать внимание на фамильярность Гавриила. Только двоим: Гавриилу и Михаилу Он позволял так разговаривать с собой. И в который раз подумал: «Что же, я действительно Стариk, а другим я никогда и не был».

Опустив взгляд, Он ответил:

– Да, вижу.

Архангел посмотрел на Бога и не увидел каких-либо эмоций на Его лице.

– И Тебе совсем не жаль его? – не успокаивался Гавриил.

Господь вспомнил слова, сказанные Адаму: «В поте лица твоего будешь есть хлеб...»

Затем Он задумчиво сказал:

– Может, и погорячился, но иначе было нельзя, поскольку творение мое – Земля, кроме Эдема, оставалась бы безжизненной, пустынной и холодной. Должен же появиться на ней тот, кто, обогрев ее своим теплом и полив своим потом, вдохнул бы в нее жизнь!

– Так Ты все заранее знал? Знал, что Ева и Адам вкусят от древа познания добра и зла? Знал, что Ты изгонишь их из Рая?

– Да, Гавриил, конечно, знал! Пойми, что ничего не может произойти в этом Мире такого, чего Я бы не знал, – ответил

Господь. – И ничего не может произойти без Моей на то воли. Все так и было задумано.

– Жалко смотреть на эти двух одиноких и несчастных людей, ведь кроме них и животных, на всей Земле никого нет! Да, Адам и Ева – это твое величайшее творение, но почему мне так грустно смотреть на них?

Всевышний чуть улыбнулся: «Наверное, надо рассказать ему, пусть знает. Нам же предстоит еще много сделать вместе. Но, с другой стороны, не надо забывать, что неисповедимы пути Мои. И так будет всегда!».

Создатель надолго задумался: «Как объяснить Гавриилу истинную суть моего творения и надо ли?»

Гавриил молча смотрел на Господа и терпеливо ждал.

Дождь на время прекратился.

Из хижины вышла Ева и, подойдя к мужу, нежно погладила его по плечу. Адам, закрыв глаза, прислонился щекой к бедру жены и, увидев ее сбоку, поднял голову и спросил:

– У тебя вздулся живот, ты плохо себя чувствуешь, заболела?

– Нет, Адам! Я здорова. Просто скоро нас станет трое...

Адам посмотрел на резвящегося невдалеке ягненка, прыгающего вокруг овцы, поднял взгляд на Еву и удивленно спросил:

– Это как у них – у овец и других тварей?

– Да, милый, да!

Снова закрыв глаза и прижавшись щекой к животу Евы, Адам тихо произнес:

– Спасибо, Отец!

Наконец Господь продолжил говорить:

– Если ты думаешь, что создание этих двух людей было венцом моего творения, то ты ошибаешься. Перед тем, как создать Еву, я долго думал о том, чего же не хватает для полной гармонии мироздания и для того, чтобы у этих двоих появился смысл жизни, и они смогли бы выполнить свою миссию прародителей? Когда наконец-то Я понял, то позвал тебя, Гавриил, помочь мне. А теперь вспомни, что Я спросил тебя, когда ты пришел?

– Ты спросил, видел ли я, где сегодня Змей.

– И что ты ответил?

– Что Змей спит в ветвях древа познания добра и зла.

– Да, Гавриил, так все и было. И Я стал творить женщину, которую Адам назовет Евой – женой своей!

– Но зачем тебе понадобился Змей в тот день? – спросил Гавриил. – Ты ведь все создал сам без чьей-либо помощи.

– Ты прав, Гавриил, в том, что все, что ты видишь, – это только мое творение. Но!.. Есть нечто, что мне одному создать не под силу.

– Не понимаю, Господь, – нахмурив лоб, в смятении произнес Архангел.

– Гавриил, я могу создавать только добро! И есть *To*, что

является величайшим благом для Мира и в чем будет заключаться вся суть его, но вместе с *Him* будет существовать и его противоположная сторона. Люди всегда будут жить в борьбе противоречий, и перед ними всегда будет стоять выбор. Иначе быть не может – иначе мир не сможет развиваться и творение мое будет мертворожденным! Вот почему для создания величайшего своего творения мне нужно было Зло.

– Что же *Это*, Господь, что же! – недоумевая, вскрикнул Гавриил.

Старик надолго задумался, подбирая нужное слово. «Я так увлекся творением, что даже и не подумал, как *Это* назвать!»

Наконец Он произнес:

– *Любовь*!

– Что это, Всевышний, что? Объясни!

– Это невозможно объяснить! Только люди, только смертные могут это чувствовать, но... только чувствовать, и пройдут века, Гавриил, и ты сам увидишь, что никто так и не сможет сказать, что это. *Любовь* – это и есть мое самое великое творение!

– Только смертные? – тихо, еще на что-то надеясь, спросил Архангел.

– Да, Гавриил, только люди – только смертные! И несмотря на смерть, они будут счастливы, ведь они познают *Любовь*! Только познав *Ee*, мужчина и женщина смогут создать новый мир – мир разума.

Гавриил молча повернулся и пошел прочь. Через несколько шагов он остановился, чуть повернул голову и тихо сказал:

— Истинно, Господь, величие твое безгранично!
По щекам Архангела текли слезы.

Прошло время.

Адам метался вокруг хижины, не зная, чем помочь жене. Ева надрывно кричала и стонала, но каждый раз, когда он пытался войти, кричала:

— Уйди, Адам, ты ничем не поможешь, я справлюсь сама!

Наконец на мгновение все смолкло. Томительная тишина показалась Адаму бесконечной. И вдруг раздался крик. «Это не Ева!» — пронеслось у него в голове.

Он вбежал в хижину. Ева лежала на полу, измученно улыбалась и держала в руках маленького человечка, который непрерывно кричал и тыкался в Еву, будто что-то искал. Наконец маленький нашел грудь и затих. Адам и Ева молча смотрели друг на друга, взгляд у обоих стал нежным, но в то же время напряженным. Губы их чуть шевелились, они хотели что-то сказать, но не находили того — самого важного в их жизни слова.

Господь что-то шепнул, и в тоже мгновение они одновременно произнесли:

— Люблю... тебя!

Адам вышел из хижины, поднял взгляд на небо, медленно опустился на колени и сказал:

– Ты велик, Отец, ты велик!
Слеза стекла по щеке Старика.
Начиналась эпоха *Человека*!

Березовый сок

Тропинка плавно извивалась между елями, и Савелий Пантелейевич шел не спеша, с удовольствием вдыхая полной грудью. «Вроде и стоит моя деревня среди леса, а все ж воздух здесь другой: лучше! – подумал старик. – Оно и всегда так было: и двадцать лет назад, и пятьдесят».

Стоило увидеть ему среди деревьев березку, как уверенно отмечал он про себя: «Ну да! Вот и понятно, как рождались русские сказки, душевые и добрые в своей незатейливости!» И появлялось у Савелия чувство чего-то близкого его душе – чего-то очень-очень родного.

Вспомнились отец и дед – оба были лесниками. Давно-давно они с отцом исходили здесь все. Отец понимал лес. Иногда он останавливался около какой-нибудь березки, клал руку на ее ствол и, закрыв глаза, молчал. Мальчик терпеливо ждал, когда папа снова поведет его дальше.

Как-то, уже будучи подростком, Савелий спросил отца, почему тот всегда останавливается именно у березы. «Не знаю, сынок, не знаю, – ответил тот и, помолчав немного, добавил: – Может, потому, что красота исконно на Руси в невинности, стройности и внутренней чистоте. От того, может, и легла на русскую душу именно березка».

Старик до сих пор помнил, что тогда подумал: «Как о де-

вушке говорит!»

Много раз за свою жизнь старик убеждался, что прав отец был: не в броской мишуре, слепящей глаза, красота женщины, а в целомудренности ее души. Каждый раз, думая о словах отца, старик вспоминал Надю – жену, которой давно уже нет, и то, как судьба свела его с ней...

Время было небогатое. Девушки одевались простенько: в то, что сами и сошьют, купив отрез в автолавке, которая приезжала к ним в деревню раз в месяц. Савелий только вернулся из армии. Молодой, задорный, всем юбкам в след смотрел. И то понятно: жениться парню пора. А тут из райцентра приехала Любаша. Красивая, стройная и одета по городскому: в яркой юбке да в кофточке в красивую разноцветную полоску. Но это еще полбеды для парня, а уж совсем беда была в том, что каждый день она одевалась в разное. Совсем Савелий голову потерял: думал, что влюбился и что вот оно, рядом, счастье его семейное. Так и ходил за ней, не обращая внимания на усмешки деревенских парней и девчат. Наконец добился своего: познакомились и стали прогуливаться вместе, иногда и до утра.

Недели две погуляли, и пришел он к родителям Любаши свататься. Как положено на Руси, все делалось неспешно, обстоятельно: родители девушки и жених сели за стол. Люба с младшей сестрой Надей сутились вокруг них, поднося простую крестьянскую еду. Разговаривая, парень все смотрел на

девушек и, когда пришло время свататься, вдруг попросил руки... Нади! Все удивленно замолчали, и парень повторил свою просьбу. Вспомнил он, что ведь давно примечал Надю: простенький сарафанчик, косички... А взгляд!.. Голубые глаза смотрели открыто, невинно. Через эти глаза всю душу ее видно было. Понял Савелий, что и он ей нравится и что эти глаза он хочет видеть всю свою жизнь и смотреть в них, как в голубое небо! А Люба? Ну что Люба! Увлекся парень, полетел как мотылек на огонь. И в затянувшейся тишине в третий раз попросил он руки Нади. Так дело и порешили.

Ни разу в жизни не пожалел он о своем выборе, а иногда и вздрагивал, представив, что мог совершить непоправимое. «Видать, Господь беду отвел!» – думал он в такие минуты.

И хоть неверующий Савелий был, а после того сватовства, как по слухам оказывался в соседнем селе, так всегда трижды крестился, проходя мимо церкви, а нет-нет и свечку в Божьем храме ставил Николаю Угоднику.

Нередко удивлялся Савелий тому, что за всю его долгую жизнь не появилось ни одной новой тропинки, все они были теми же, что и в его детстве. Когда он был маленьким, отец показывал и объяснял ему, где звериная тропа, а где она натоптана человеком, но после постройки в конце шестидесятых годов прошлого века лесозаготовительной базы недалеко от деревни встреча с каким-либо зверем была редкостью, и остались лишь те тропы, коими пользовались люди. Старик

прожил здесь всю жизнь, и эти изменения происходили на его глазах, но по-прежнему он любил лес, и, глядя на деревья за околицей, казалось ему, что лес зовет его какими-то своими тайнами. «А может, все эти тайны только в моей голове?»

Земля под ногами стала мягче, и вскоре впереди показалася березняк. На душе у Савелия Пантелейевича стало почему-то радостнее. Он остановился и некоторое время всматривался в стройные деревца. Морщины на его лице разгладились, взгляд потеплел, и, улыбнувшись, он подумал: «Словно девушки в белых сарафанчиках стоят и вот-вот хоровод затеют. Может, это и есть та тайна, которую я все ждал?»

Наконец старик вышел из задумчивости и зашагал дальше.

Весна в этом году быстро прогнала холода, снег сошел дружно, и Савелий порадовался тому, что под ногами земля была хоть и мягкая, но сухая, и не надо перешагивать с кочки на кочку. Вскоре еловый лес с редкими березами совсем отступил, и вокруг него уже стояли только молодые березки. В иные годы в это время место здесь было болотистое, а на болоте, как известно, березовый век недолог – лет двадцать, от силы тридцать.

Однако по мягкой почве идти стало тяжелее, ему и так-то трудно было ходить, а тут уж совсем ноги заболелись. «Вот ведь погнался за соком, как мальчишка! Даже про больные ноги забыл», – подумал старик.

В то раннее утро гурьба деревенских ребят прошла мимо его забора. Только и слышно было: «Березовый сок, березовый сок!» Старик, посмотрев на нераспустившиеся берескы, видневшиеся за оклицией поселка, подумал: «А почему нет?»

Взяв старый, еще отцовский складной нож, банку и веревочку, он тоже отправился в лес.

Увидев поваленное дерево, старик присел на него. «Ноги-то, ноги! Да… – годы! А что уж лукавить: старость, однако», – подумал он.

И, как всегда, вдыхая лесной воздух, он вспомнил про курево. Достал кисет с махоркой, клочок какой-то газеты, с трудом скрутил самокрутку, зажег спичку и закурил. Втягивая дым, в который уж раз поворчал на современную прессу: «Нет, не те сейчас газеты: хороших нет. Совсем о людях не думают: поля с боков страниц маленькие, отрываешь полоску по краю, что без типографской краски, а она узенькая, замучаешься старыми пальцами самокрутку скручивать! Тото в прежнее время, при той власти: поля на страницах широкие, да и бумага «вкуснее» была. Нет, совсем о людях не думают, – и с усмешкой добавил про себя: – Ага, и вода мокрее была. Ворчу, однако! Старик!»

Оглядываясь по сторонам, он неожиданно подумал: «Почему в березовой роще всегда становится спокойно на душе и чувствуешь, что ты среди своих и что ты у себя дома?»

Выйдя из задумчивости, старик высмотрел вокруг себя

березку, ту, что потолще. «Стройная, да и выше других своих сородичей. Видать, сильное дерево и к солнцу тянется шибче прочих. Вот от нее и буду сок брать».

Он вынул из рюкзачка баночку, веревку, подошел к дереву и, примерившись, прикрепил банку к стволу. Затем достал из кармана брюк складной нож, раскрыл его и вдруг попятился, снова сел на поваленное дерево. «Что же я делаю? — спросил он себя, глядя вокруг на многие уже сухие, а то и повалившиеся березки, которые были намного тоньше той, к которой он привязал банку.

Опять посмотрел на выбранное дерево. «А ведь хоть и сильнее эта березка к солнцу тянется, а невдомек ей, что на болоте век-то ее короток. А тут я с ножом. Совсем старый ума лишился!»

Только сейчас стариk обратил внимание, что концы веток березки свисали вниз, и создавалось впечатление, что она плачет. «Так, может, не в белых сарафанчиках и не в хороших суть, а в том, что сродни ее вид загадочной, необъяснимой и извечной тоске русской души? Может, это и есть та самая тайна, которую я всю жизнь хотел понять?»

Спрятал нож, убрал в рюкзак банку и поплелся обратно в поселок, а по дороге все повторял про себя: «Точно бес попутал. И дался мне этот сок?»

Так, ругая себя, он шел по тропинке; вспомнился отец, вспомнилось, как в детстве пошел он с мальчишками в лес. Также была ранняя весна и также они веселой ватагой на-

правлялись за березовым соком. Да только тогда, в последний момент, встал он между березой и ребятами и не позволил никому резать кору дерева. Поселковые мальчишки после оторопи стали надвигаться на него: побить хотели, но, увидев его злой и решительный взгляд, отступили. Долго еще после этого случая они отворачивались при встрече и не разговаривали с ним.

«А удастся мне разыскать ту березу?» – вдруг мелькнула мысль у Савелия Пантелейевича.

Старик остановился, какое-то время думал и наконец решительно свернул с тропинки. Часа два бродил он по лесу и, уж совсем намаявшись больными ногами, присел на подвернувшийся пенек. «Нет, видать, не найти. Лет-то много прошло!» – расстроился старик и вдруг… понял, что сидит он и смотрит именно на нее – на ту самую березу.

Долго сидел он на пеньке и смотрел на дерево. Береза была высокая, раскидистая, но большинство ветвей были сухими, а от корней росли две молодые березки.

Старик подошел к дереву, обнял его, прижался лицом и, закрыв глаза, прошептал:

– Вижу, и тебе недолго жить осталось. Да-а-а, вот и жизнь прошла. Пожили уж. У тебя две дочери, а у меня два сына! Вот только твои навсегда при тебе будут, а мои разлетелись по стране, и увидеть их большое счастье для меня, потому как такое очень редко случается. А корни-то у нас с тобой навсегда в этой – родной земле – останутся.

Так и стоял старик, пока сердце не перестало щемить.

Родная душа

Рано утром, как всегда, Марфа мышкой прошмыгнула в прихожую через маленький коридорчик, минуя кухню, и вышла из дома. Сноха хозяйничала на кухне и не заметила ее. Идти было всего километр, молодая была – за 10 минут добегала, но теперь ноги болели и о возрасте все время напоминали. Только через час она вошла в ближайшую церковь.

Марфа подошла к иконе святого Пантелеймона, перекрестилась, произнесла: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа», – прислонилась к образу сначала челом, затем губами, опустилась на колени и истово стала молиться. Не за себя молилась, хоть и старость уже настала в ее жизни – десятый десяток заканчивался. Шутка ли – сто лет поле свое переходила и была уже у края этого поля, но не за себя душа болела – за сына. Отец Мефодий не спеша подошел к Марфе. За много лет он привык видеть ее в церкви каждый день. Женщина ходила в эту церковь, когда он еще не был в этом приходе; все ее знали и любили. Безотказная была – всегда поможет, что надо: то воск с подсвечников соберет, то доГоревшие свечки, то поможет немощному человеку с колен подняться, то подскажет прихожанке, где какая икона висит и какой от чего надо молиться. Но сейчас вид ее был растерянный и беспомощный.

Мефодий подумал: «Не пройти ли мимо и не мешать ей?» – но сердцем почувствовал: надо поговорить.

– Здравствуй, Марфа, – поздоровался он.

– Здравствуй, батюшка, здравствуй, – не вставая, поклонилась Марфа.

– Никогда не видел тебя около иконы святого Пантелеймона, не заболела?

– Да не за себя, батюшка, не за себя помолиться пришла.

– С кем же беда случилась?

– С сыном, батюшка, с сыном, – не поднимая на священника взгляд, сказала Марфа. – Пьет, батюшка, каждый божий день пьет – спасу нет.

– Помнится мне, женат он, ты бы вместе с женой его образумила, – посоветовал Мефодий.

– Так жена вместе с ним и пьет, и тоже каждый божий день.

– А друзья?

– Так друзья остались у него такие же, что пьют. Да и те редко бывают. А те, что непьющие, так те уж давно перестали приходить к нему – о чем с ним говорить-то? Какая водка дешевле или лучше? – грустно сказала Марфа. – Живу, батюшка, хоть и в собственной квартире, а как в келье: выйти из своей комнаты боюсь, сплошь за дверью мат да ругань, да на кухню только по расписаниюпускают. А еще все требует сноха, чтобы я им комнату свою уступила, потому что она поболее будет, а то они, мол, совсем ютятся.

— Может, Марфа, оно так и правильно будет, ведь семья же какая-никакая.

— Да ведь и я так поначалу хотела поступить, а как узнала, что прежний ее муж спился, и квартира от него трехкомнатная осталась, и что как расписалась она с сыном моим, Степаном, так и сдает она ее, а сюда на восемь метров к сыну переехала жить, так и задумалась. Добрый он у меня и слабохарактерный. А ведь до нее вообще водки в рот не брал. Придет с работы, а тут уж и закуска, и бутылка; а закончится водка — сама первое время бегала, чтоб «добавить» ему. Теперь уж он к этой водке проклятущей так привязался, что сам бегает в магазин, чтобы еще выпить, но первую бутылку, чтобы сразу с работы пришел и принял, она покупает, — Марфа перевела дыхание и продолжила. — Мне уж помирать скоро, и сына сноха водкой со света сживет — вот и квартира ее будет. Для того так она все и делает, да ведь только неймется ей — все быстрее хочется, вот и мат, и ругань в доме, и все на мой счет. Про меня, кроме как «эта стерва старая», и не говорит. А сын молчит, совсем спился и под каблук попал. Да родни-то у меня нет совсем, а то бы завещала квартиру кому-нибудь.

— Грех так говорить, — произнес отец Мефодий, — сын же он тебе.

— Да... а только завещала бы, чтобы снохе не досталась. Тогда, может, и сына спаивать перестала бы: смысла не было бы, — тихо, но твердо произнесла Марфа.

— Молись о душе, матушка, о душе молись, мирское все с собой в Божье Царство не возьмешь, — только и сказал Мефодий и медленно отошел от Марфы. Он частенько попадал в тупик, выслушивая простые, на первый взгляд, житейские проблемы. Сам Мефодий в свое время поступил в семинарию, чтобы уйти от всего мирского, которое для него было запутанным, непонятным и пугало его своей сермяжной, казалось бы, простотой.

«Грех... — зацепилось в голове Марфы слово, оброненное Мефодием. — Значит, и справедливость может быть грехом?» Этого ей понять было не под силу.

Один только грех она помнила за собой, и мысли вернули ее в воспоминания.

Война застала ее в Белоруссии: не успели эвакуироваться. Из-за нее, войны этой проклятой, и возраст, как говорится, «на выданье» прошел. Мужиков много поубивало на войне, и те, что вернулись, были нарасхват, даже и без руки или ноги. Да только они все гоголем ходили и выбирали не спеша, да помоложе. Да и не красавицей Марфа была — обычная русская работящая баба, коими так богата матушка-Русь. Так и не вышла замуж. Уже когда ей сорок лет было, специально сошлась с командированным, приехавшим в соседний колхоз на неделю: так уж ей ребеночка хотелось, чтобы не быть одинокой и свою (пусть и без мужа) семью иметь и родную душу всегда рядом, да и на старости лет чтобы было на кого опереться! Мужчина, отработав свое, уехал к себе домой,

куда-то на Кубань, где у него была жена и двое детей. Он и адреса своего не оставил, а Марфа все ждала, будет у нее в срок или нет, и все в церковь ходила – молилась. К вере-то ее никто не приучал: и отец, и мать были неверующие; сама в церковь пошла, больше просить было не у кого. А уж как стало ясно, что беременна, тут и вера пришла, да на всю жизнь. Вдвоем с матерью поднимали сына: отец с войны не вернулся. Позже, когда уж мамы не стало, перебралась из деревни в город. Так и жила, в сыне души не чаяла. Как матери-одиничке, завод квартиру выделил как раз около этой церкви. Пришло время – и на вторую работу, по совместительству, устроилась, а все же подняла сына – институт окончил. И такой добрый и ласковый Степа рос, что ни худого слова, ни упрека какого Марфа от него ни разу не слышала.

«Все изменилось, как женился он, – с тоской вспоминала Марфа. – Женился поздно – детей уж быть не могло. Детей снохе и не надо было: дочь у нее. Дочь под стать мамаше: легла под одинокого да малахольного мужика с квартирой, поженились, а как родила, сразу и развелась – так с квартирой и осталась. Сдает теперь ее, а сама уж то ли с третьим, то ли с пятым мужем живет».

Все не нравилось Марфе в снохе и ее дочери, и то ведь сказано же в Евангелии от Матфея: «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Итак, по плодам их узнаете их».

Летом легче Марфе было: уезжала за город на свои шесть

соток; тянулась душа к земле, вспоминала Марфа свои крестьянские корни. Пусть сарайчик маленький и крыша протекает – лет двадцать уже просила сына подправить – а душой отдыхала она, работая на огороде и вспоминая отца, мать, да речку их, куда с детства с девчонками купаться бегала. Да и поговорить было с кем: соседка тоже одна на огороде мыкалась. Вместе решали они, что и как посадить в этом году, цветами обменивались, а частенько и ужинали вместе, а уж как у кого что заболит, так вместе рылись в аптечке, решая, что принять. Да и забор-то между их огородами никогда не стоял: не было лишних денег ни у той, ни у другой.

Вот уж и руки на себя наложила бы Марфа, не будь этой отдушиной – этого родного кусочка земли, этого малюсенького, но столь близкого сердцу кусочка родины.

«А ведь и его пропьют, окаянные», – горько думала Марфа.

Похоронили Марфу вскоре после Светлого Христова Воскресения. Тихо отошла. И не болела вовсе – слегла, несколько дней полежала молча и отошла. Как жила тихо, так и померла, никого ни о чем не прося и никого ни в чем не упрекая. Сноха пыталась впихнуть ей ложку каши со словами: «Ешь, старая, ну что упираешься?» Но Марфа, сжав губы, так и не приняла от нее ничего до самого конца.

Тихая пригородная станция на майские огласилась шум-

ной разноголосицей: начинался дачный сезон. Степан плелся за женой, кряхтя под тяжестью сумок.

— А водку здесь возьмем, не тащить же ее из города, — деловито сказала жена.

— Слыши, Маш, а ничего, что и сорока дней еще не прошло, может, рано мы поехали? — раздался сзади неуверенный голос Степана.

— Ничего, ничего, что ж дача простоявать будет? Да и под шашлычок, на природе, оно лучше, чем в душном городе, — уверенно и даже весело сказала жена. — И посмотреть надо, что к чему — почем ее продать можно? Я горбатиться в земле не собираюсь!

За полчаса дошли до дачного поселка. С трудом, по номеру на угловом столбике, разыскали участок Марфы. Вошли, деловито оглянулись, заприметили кучу веток. Жена Степана стала прикидывать, хватит ли их на костер, покачала головой:

— Да, в лес надо сходить за дровами, — сказала она Степану.

— Ну так я пошел, — ответил Степан, привыкший беспрекословно слушаться жену, и направился к краю леса.

Не сразу Мария обратила внимание на старушку, вскапывающую грядку поблизости. По угловым столбикам выходило, что старушка возится на ее участке.

— Ты что, старая, совсем глаза потеряла? Иди копай на своей земле! Совсем народ обнаглел! — возмутилась Мария.

Впрочем, возмутилась делано: «Подумаешь, поставить старуху на место».

– Вы, наверное, Маша, сноха Марфы? – спросила старушка.

– Была Марфы, а теперь сама по себе, – огрызнулась Мария.

– Сейчас, подождите меня немного, – сказала соседка и ушла в домик.

Домик, как и у Марфы, скорее напоминал сарайчик, где разве что можно было переночевать, и то только в теплую и сухую погоду. Из домика соседка вышла, неся в руках конверт, и дала его Марии.

Мария достала из конверта сложенную вчетверо бумагу и сразу поняла, что бумага казенная – официальная бумага. Дрожащими руками развернула она вчетверо свернутый лист и стала читать. Прочитав, Мария уставилась на соседку невидящим взглядом. Лицо у нее то краснело, то бледнело, и наконец приобрело серо-зеленый цвет. Она не могла поверить своим глазам: это была дарственная на дачу на имя соседки!

Мария в сердцах зло разорвала документ в мелкие клочки.

– Это заверенная копия, специально для вас делала, – тихо произнесла соседка.

– Что случилось? – спросил подошедший Степан, неся охапку хвороста.

– Брось все, пойдем, по дороге объясню, – сказала Ма-

рия. – Спасибо твоей мамаше – шашлык будем на сковородке жарить.

Степан зашел в комнату матери: здесь еще ничего не передвинули, не перевесили; он стоял посреди комнаты, молча оглядываясь, как будто что-то родное хотел вспомнить и почувствовать. По стенам было развешано много фотографий: вот он маленький на трехколесном велосипеде, в матроске и в бескозырке; вот они с мамой в обнимку и чему-то смеются; а вот он с букетом цветов идет в первый класс. На противоположной стене он уже старше: школа, институт, стройотряд... – вся их жизнь до его женитьбы. А после женитьбы – ни одной фотографии – ничего!

Он задержал взгляд на святом углу комнаты. Степан много раз видел эти иконы, но почему на самом видном месте стояли икона Божией Матери «Неупиваемая чаша», образ святого Вонифатия и лик преподобного Моисея Мурина, не знал. Сердцем чувствовал: что-то объединяет все эти образа, то, что связано именно с ним, и понимал, что мать постоянно думала о нем и молилась. В этих иконах была боль ее души – боль за него. Он решил сейчас же сходить в церковь и выяснить все об иконах. В душе вновь просыпалось родное чувство к матери – то, что было когда-то в детстве. Он стоял в оцепенении, и вдруг голос жены с кухни:

– Ты идешь, наконец-то, жрать? Водка стынет, и шашлык я уже поджарила на сковородке.

Что-то близкое и родное, уже почти коснувшееся его души, вдруг отодвинулось и рассеялось.

«Ладно, успею еще в церковь сходить – завтра схожу», – подумал Степан и крикнул:

– Наливай – иду.

Монах

Часы показывали двенадцатый час ночи, когда Николай Васильевич вышел из полупустого автобуса. На прощание кивнул водителю, тот в ответ махнул рукой. Они хорошо знали друг друга: Николай, возвращаясь с завода, часто ездил этим поздним рейсом. Мороз пощипывал щеки, нос. «Наконец-то настоящая зима!» – думал он.

До дома ему оставалось пройти через сквер и пересечь площадь. Он жил один, его никто не ждал, и спешить ему было некуда. На службе часто задерживался допоздна и, как правило, еще и брал работу домой на выходные дни, поскольку в субботу и воскресенье на завод не пускали. Немолодой, уже далеко за шестьдесят, он обладал добрейшей душой. Сам себя он считал стариком, но многие звали его без отчества – просто Николай. Впереди его ждала пустая тихая двухкомнатная квартира. Он часто вспоминал то время, когда она наполнялась голосами мамы, отца, старшей сестры и его собственным, еще детским, голосом. В такие моменты его охватывала легкая грусть.

Старик медленно шел поочной аллее, любуясь деревьями, на которых каждая веточка была покрыта снегом. Ночью в свете уличных фонарей эта картина выглядела сказочно. В конце сквера, у самой площади, он остановился, снял шап-

ку и, как всегда, трижды перекрестился, глядя на маленькую церквушку, приютившуюся среди деревьев. Затем взглянул на небо и замер, очарованный открывшейся его взору картиной. На фоне звездного неба искрился падающий снег. Старик продолжал любоваться. Наконец снежинки слились со звездами: мир стал един. «Почему именно зимой и именно в такие ночи уходят все сомнения, исчезают все вопросы и так хорошо верить в Бога, в то, что Он есть, что оберегает тебя и что ты не одинок в этом мире?..» – думал старик.

Что-то послышалось Николаю Васильевичу, и он, обернувшись, заметил одинокого человека, сидящего неподалеку на скамейке. Тот весь сжался от холода, склонил голову и поджал под себя ноги. Николай Васильевич некоторое время наблюдал за незнакомцем. Мужчина нет-нет да и заваливался на бок, но вздрагивал и, не поднимая головы, опять принимал прежнее положение.

– Очнитесь, замерзнете, – сказал Николай Васильевич, подойдя к незнакомцу и тряся его за плечо. – Идите домой.

Человек с трудом поднял голову, взгляд его был направлен куда-то в сторону. Это был молодой мужчина, одетый прилично, но все на нем было сильно поношено: и демисезонная куртка, и брюки, и ботинки, годные разве что для ранней осени, но никак не для зимы. Заиндевелыми губами он ответил:

– Мне некуда идти.

– Вы где живете, где ваш дом? Я могу проводить вас?

— Я в этом городе случайно.

Незнакомец по-прежнему смотрел в сторону. Голос его был очень слабый и выглядел он настолько жалким, что Николай Васильевич подумал: «Оставлять его здесь нельзя — пропадет».

Старик почему-то сразу проникся доверием и состраданием к сидящему на скамье, подхватил его под мышки, поднял со скамейки и повел через площадь. Минут через пятнадцать они уже вошли в квартиру Николая.

Наутро сели пить чай.

Первым заговорил Николай Васильевич:

— Как вас звать, молодой человек?

— Кирилл, — вяло ответил тот.

— Владыка, значит, если с греческого? — бодро произнес хозяин квартиры, стараясь расшевелить гостя.

Но тот угрюмо пил чай, потупив взгляд.

— А скажите на милость, что вы делали ночью около церкви?

— Ждал, когда откроется. Мне к батюшке Артемию надо.

— И зачем же, если не секрет?

— В монастырь уйти хочу, знаю, что там, прежде чем монахом стать, надо трудником поработать на пользу обители и братии. А при себе надо иметь письменное благословение от приходского священника, — оживился Кирилл. — На вокзале случайно от мужиков узнал, что в этой самой церкви отец Артемий набирает трудников по поручению одного мо-

настыря. Вот к нему и хочу попасть.

Николай Васильевич с удивлением посмотрел на молодого человека с интеллигентным лицом, которому и до тридцати-то жить да жить. Придя немного в себя, он уже начал задавать вопрос:

– Что же у вас, Кирилл, в жизни прои... – но осекся и, пораженный, замолчал.

Кирилл впервые прямо посмотрел в глаза своему благодетелю. Старик был уверен, что такие глаза он уже видел. «Но где?» – он вспомнить не мог.

Взгляд молодого человека был обращен глубоко внутрь себя. В его глазах виделось что-то потустороннее, но не отталкивающее, а манящее далеко-далеко. Глядя на него, Николай Васильевич почувствовал спокойствие на душе и мелочность всех своих проблем. Он вспомнил события в своей личной жизни шестилетней давности...

Немного придя в себя, так и не вспомнив, где видел такой взгляд, он спросил:

– Вы, Кирилл, хоть раз в церковь-то заходили?

Молодой человек отрицательно помотал головой.

Взглянув на часы, Николай напомнил гостю:

– Скоро восемь часов, вам пора в церковь.

Много позже старик вспомнит этот взгляд: так смотрели монахи, иногда встречавшиеся на улицах города.

Вечером этого же дня молодой человек снова появился в квартире. Николай Васильевич взял протянутый ему лист и

углубился в чтение. Это была бумага для настоятеля монастыря, написанная твердым слегка витиеватым почерком, в которой батюшка Артемий дает Кириллу благословение на начало пути к Богу и спасению.

— Мне сказали, что всю одежду надо привозить свою: и летнюю, и зимнюю. Поможете?

Хозяин квартиры посмотрел на гостя и деловито ответил:

— Ну что же? Будем собираться...

В этот же вечер Кирилл уехал в монастырь. Он не писал старику и не звонил. Только через несколько лет Николай Васильевич узнает о его дальнейшей судьбе.

Двое суток добирался Кирилл до этой проселочной дороги, которая, петляя, вела от трассы к монастырю. Он смотрел на заснеженный лес, тянувшийся по обе стороны, и думал: «Надеюсь, это путь только в один конец».

Нет, он не сомневался в своем решении. Потеряв самого себя, он был опустошен, слаб; сил бороться за свою мирскую жизнь у него не было.

После очередного поворота показался монастырь. Почему-то Кирилл думал, что все монастыри белого цвета, как церкви, которые он раньше видел. Этот был мрачный, темно-красный. Внутри у будущего монаха что-то сжалось и отпустило, смиряя его душу к покорности судьбе. Склонив голову, весь в своих мыслях, он дошел до монастырских ворот и постучался в ту — новую для него — жизнь, которая ждала

его впереди. Даже здесь, еще не войдя внутрь, он почувствовал запах ладана, обгоревших свечей и... пота.

Ворота открылись, впустив его на территорию обители, и со скрипом, пронзающим душу, закрылись за его спиной.

Перед игуменом Макарием стоял молодой человек, худой, видно, недоедавший какое-то время, в одежде определенно с чужого плеча. В руках он держал старый рюкзак. «Кто-то собирал его», – отметил про себя Макарий.

Святой отец заглянул в паспорт, протянутый ему посетителем.

– Кирилл, я буду обращаться к тебе на ты и просто по имени. Привыкай, у нас так принято. Меня зовут отец Макарий – игумен, или настоятель, этого монастыря.

Молодой человек кивнул головой и молча неотрывно продолжал смотреть на игумена, стараясь не пропустить ни одного слова.

«А взгляд-то у него монашеский!» – заметил игумен и не удивился, поскольку многие из тех, кто приходил сюда, по своей душевной сущности уже были монахами.

– Расскажи о себе, – попросил игумен, но сесть не предложил.

Кирилл был готов к такому вопросу, поскольку и сидя в плацкартном купе поезда, и в автобусе, и даже когда шел от трассы до монастыря, он рассказывал самому себе свою жизнь. Начал отвечать сразу, не раздумывая, но с трудом

произнося слова:

— Я из Красноярска, там родился и вырос. Окончил медицинский университет. Был женат...

И все-таки он не выдержал напряжения: трудно ему вспоминалась его жизнь, голос его дрогнул, и на глаза навернулись слезы.

— Ну-ну, это прошлое, так и относись к нему как к прошлому, — сказал игумен. — А если Бог поможет, то и забудешь ты о нем навсегда, другая жизнь у тебя впереди.

— Детей не нажил. Были и друзья. На хорошее место устроился на работу, по специальности: в клинику хирургом. А там спирт рекой, в итоге все в жизни потерял, себя бы хоть спасти...

— Понимаю.

— И вот еще что, отец Макарий. Я неверующий.

В полной тишине игумен отошел к окну и некоторое время так и стоял спиной к Кириллу. Наконец, не повернувшись и не глядя на Кирилла, проговорил:

— Многие приходят сюда с опустошенной душой и полностью разуверившись во всем — приходят, надеясь обрести веру в Господа нашего и тем самому спастись и наполнить любовью к Нему свою душу. Трудись, читай святые книги и молись. Даст Бог, и веру обретешь: на все Его воля.

В этот момент открылась дверь и вошел старый монах, высокий, худой.

— Кирилл, познакомься это отец Ипполит. Наставником и

духовником твоим будет. Все ему рассказывай, по всем вопросам советуйся и, прежде чем что-либо сделать, благословение у него получи. Ему и расскажешь все в подробностях, а мне для начала достаточно. Водка? Не ты первый, не ты и последний. Выйди, подожди пока за дверью.

Оставшись наедине, Макарий сказал Ипполиту:

– Поселяй его и приглядись к нему. Чувствую, что монахом он будет истинным.

Отец Ипполит кивнул головой и вышел.

На следующий день началась полноценная жизнь Кирилла в монастыре. Вставал рано, читал Священное Писание, затем выполнял послушание. Пока была зима, трудился на разных хозяйственных работах. Летом, как ему сказали, будет гнуть спину на монастырских угодьях. Огороды у монастыря большие, и насельникам приходилось работать много. На весь год обеспечивала земля монахов овощами. Торговлей монастырь не занимался, и излишки урожая, если такие были, забирал поселок и, продав их, отдавал монастырю деньги.

Первое время спина у Кирилла болела так, что из прочитанных религиозных книг в голове у него ничего не задерживалось, и даже самые короткие молитвы не мог запомнить. Но тяжелая жизнь трудника нравилась ему: она заполняла все его время и вытесняла мысли о прошлом. Вскоре мышцы привыкли к физическому труду, и он попросился на испо-

ведь. Несмотря на то, что к исповеди полагается готовиться, духовник, отец Ипполит, выслушал Кирилла, поскольку хотел, не откладывая, понять жизнь и внутренний мир нового человека, узнать, чего тот ждет от монашеского пути и как его понимает.

На первой исповеди Кирилл с удивлением осознал, что многое из своей жизни он не решается рассказать; понял это и отец Ипполит, но упрекать молодого человека не стал и сделал вид, что этого не заметил. По дороге в жилой барак, где поселились трудники и паломники, в голове у него неустанно крутилась одна и та же мысль: «Неужели когда-нибудь я исповедуюсь во всем?» – и он с сомнением качал головой.

Не так много времени понадобилось, чтобы жизнь в глуши, тяжелый труд, молитвы, недосыпание, посты, одни и те же лица монахов и разговоры только на религиозные темы сделали его спокойнее, увереннее в себе. На исповедях он все больше открывал исповеднику свою душу.

Прошло время, но даже став рясофорным монахом, брат Кирилл так и не смог исповедоваться полностью. Некая грань оставалась между ним и Богом, и он ощущал, что часть его души находится по одну сторону невидимой черты, а часть – по другую. В душе он мучился этим, понимал, что это грех для монаха, но рассказать своему духовнику о раз-

двоении в своем сознании не решался. Брат Кирилл с удивлением и ужасом осознавал, что, приближаясь к пониманию Бога, стал приближаться и к осознанию своей прошлой, мирской жизни, размышляя о ней и оценивая свои поступки. Он не отдался от прошлого, наоборот, значимость той жизни возрастала в его сознании. Каждый раз приходил он к мысли о том, что причиной сломанной судьбы является он сам. Кирилл пришел в монастырь слабый духом и раздавленный обстоятельствами, но теперь он чувствовал в себе некий стержень, который укрепляет его против невзгод. Его размышления приводили к тому, что именно познание Бога укрепляет его. Он пытался заставить себя не думать о мирском: «Это прошлое, и его нет и уже никогда не будет! Есть только Бог и любовь к нему!» – говорил он себе и с еще большим усердием молился, увеличивая количество поклонов, изнуряя себя бессонницей и ужесточая посты.

К утру после бессонной ночи перед его взором в безумной круговерти проносились лица знакомых ему людей, сливаясь с ликами святых. Утром, как и всегда, он брел исполнять послушание, еле передвигая ноги. Братья спрашивали, не заболел ли он, но Кирилл, не отвечая, приступал к работе. Как-то вечером к нему в келью пришел отец Ипполит.

– Рассказывай все! – приказал он монаху.

Истощенный духовно и измученный телесно, тот, несколько помолчав, начал рассказывать. Чем больше говорил Кирилл, тем все безумнее становился его взгляд: он по-

гружался в себя, уже не понимая, кому и зачем он рассказывает. Слушая, отец Ипполит мрачнел.

Наконец инок перешел на крик, затем голос его сорвался и, выговорив шепотом: «Помоги, Господи!» – он упал на кровать и потерял сознание.

Духовник привел его в чувство и увидев, что глаза монаха стали осмысленными и что Кирилл может понять его слова, сказал мягким вкрадчивым голосом:

– Мальчик мой, ты уже рясофорный инок, первый постриг принял, и пусть обеты ты еще не давал, но сделал первый шаг к истинному монашеству и к Богу, а путь к спасению ты будешь искать всю свою жизнь, сбиваясь с него и находя в себе силы снова идти по нему. Ты должен быть готов к этим испытаниям. Пока ты был трудником и затем послушником, Сатана не обращал на тебя внимания. Теперь же Лукавый борется с Богом за твою душу. Все проходят через это, и ты, я верю, пройдешь.

Увидев, что молодой монах успокоился и закрыл глаза, отец Ипполит подождал, пока тот уснет, и вышел из кельи.

Игумен Макарий задумчиво смотрел в окно. Большие пушистые снежинки опускались медленно и, казалось, нехотя. Иногда порыв ветра, играя, подхватывал их, и они радостно взмывали снова в небо, продлевая хоть на несколько мгновений свою жизнь, надеясь снова пролететь перед окном. И может быть, человеческий взгляд упадет на них еще хоть раз?

Макарию представлялось, что Всевышний, покрывая все белым цветом, очищает мир людей от всего дурного, возвращая его к первозданной чистоте и безгреховности. Только темные силуэты монахов выделялись на белом снегу, но их черные одеяния говорили об отречении от всего мирского, разноцветного, уводящего в сторону от истинного пути. Насельники упорно пытались разгрести выпавший снег вдоль единственной дороги, ведущей от обители к трассе. Но тщетно: снег падал уже четвертые сутки.

Макарий вспомнил снежную горку, что была во дворе детского дома, себя, лихо мчавшегося на санках, и радостный смех воспитанников. Да, детский дом, а детство вспоминалось как пора счастья. Почему?.. Потому что это детство! Вспомнилась и учеба в институте. Жизнь казалась ему прекрасной, и представлял он, что такая она будет всегда. Но все сложилось иначе: война, кровь истошили полностью его душу, как и души многих, кто был там с ним. Пустота внутри него заполнилась беспросветной тоской. Как-то он проходил мимо церкви, и вдруг раздался звук колоколов. Он стоял и слушал, не в силах сделать и шага. Ему представилось, что стоит он перед церковью в древней Руси – вокруг избы, а за ними дремучий сосновый лес – и слушает музыку перезвона, извечную и ложающуюся благодатью на душу. Свою жизнь он посвятил Богу. «Да, давно это было. Почитай, уже около двадцати лет несу ответственность за тех, кто идет путем спасения!» – подумал игумен.

Посыпалось приглушенное покашливание, Макарий обернулся. Перед ним стоял, смущенно улыбаясь, староста соседнего поселка.

— Здравствуйте, Евдоким Прохорович. Чем обязан лицезреть вас? Вы ведь у нас нечастый гость.

— Здравствуйте, отец Макарий. Беда у нас. Поселок наш, сами знаете, небольшой, но в нем есть больница. Можно сказать, даже не больница, а фельдшерский пункт, им пользуются наши люди и жители еще нескольких деревень в округе.

— Это я знаю. Помню также, что ваш доктор помогал налаживать работу фельдшерского пункта у нас в монастыре, за что ему и вам огромная и незабываемая благодарность. Мы и в молитвах вас поминаем и поминать всегда будем. Так что случилось?

— Заболел тяжело наш врач, Максим Леонидович, в районную больницу увезли давеча на операцию. Много лет у нас проработал. Сподвижник. Нравилось ему, что народ в шутку за глаза называл его Антон Павлович, как Чехова, даже гордился этим.

— Как же, помню его: седой, в больших очках, благороднейшей души человек. На таких людях ваш грешный мир держится. Выздоровления ему желаю, чтобы и дальше других исцелял.

— Вот я и говорю, — с грустью произнес староста, — он человек далеко не молодой и сможет ли дальше работать — вопрос. А когда район найдет ему замену? Неизвестно. Жела-

ющих ехать в нашу глухомань может еще долго не найтись. А люди-то продолжают болеть, и Авдотье Марковне, медсестре, без врача никак не справиться. Да и не молодая она тоже. Сестру-то ей в помощь я найду: внучка моя, Анна, просится туда на работу. Верующая она, и хорошая сестра из нее будет. А вот с врачом помочи у вас прошу. Может монастырь помочь?

Староста замолчал и с надеждой посмотрел на игумена.

Отец Макарий сразу же вспомнил о брате Кирилле и уверенно сказал:

– Поможем, обязательно поможем!

– Спасибо, святой отец, – сказал староста и, повернувшись, пошел к двери.

– Погоди маленько, Евдоким Прохорович. Скажи, а как так получилось, что внучка твоя верующая? Ты ведь, насколько я помню, Бога не жалуешь, даже в церковь не заходишь.

– Оно, конечно, так, да только отца с матерью она рано лишилась, с детства у меня живет, а мне с ней возиться некогда было. Вот она все около Авдотьи Марковны и вертелась, прямо в рот ей смотрела. А та верующая. Так и к церкви приобщилась.

– И еще, Евдоким Прохорович! – сказал игумен. – Может, и ты поможешь монастырю? Братия надрывается, а со снегом справиться не может. Трактор бы нам, хоть на денек.

– Завтра с раннего утра трактор у вас работать будет и

до тех пор, пока всю дорогу не расчистит, – ответил охотно староста. – Только вы уж накормите Федора, тракториста. Он с характером,уважение любит.

Игумен улыбнулся, утвердительно кивнул головой, и староста ушел.

Находящийся при этом разговоре отец Ипполит не смог удержаться и высказал свои сомнения:

– Отец Макарий, воля ваша, но я бы не советовал отрывать брата Кирилла от обители, рано ему испытывать себя в мирской жизни: слаб он еще в вере.

Макарий удивленно посмотрел на старого монаха:

– Чудно мне слышать от тебя такие слова. По твоему наставлению мы благословили его на постриг. Не понял тебя! Я уже и старосте обещал. Да и некого больше послать: только у него медицинское образование. А если не выдержит испытания мирской жизнью, то и не быть ему монахом. На все воля Божья.

Отец Ипполит, покорно потупив взор, спросил:

– Я могу идти?

– Иди.

Игумен оделся и вышел на улицу; он не хотел вызывать брата Кирилла к себе. Тот работал вместе со всеми на уборке снега. Глядя на ежившихся от мороза монахов, игумен подумал: «Надо бы в епархии испросить материала братьям на подстежки». Тут же памятку сделал в блокноте. Увидев Кирилла, отец Макарий, перелезая через сугробы, с трудом

добрался до него.

— Пройдемся, брат Кирилл, поговорить надо.

Они вышли на расчищенную часть дороги. Кирилл молчал, гадая, зачем он понадобился игумену, но душа его сжалась в преддверии чего-то плохого, и в горле стоял комок.

— Ты, как я помню, врачом работал?

— Да, хирургом в городской больнице.

— Завтра пойдешь в соседний поселок, в местной больнице послушание нести будешь.

Кирилл весь напрягся и дрожащим голосом произнес:

— Боюсь я, отец Макарий, в мирскую жизнь идти, твердости в вере еще недостаточно во мне.

— Я не спрашиваю твоего мнения, — произнес игумен раздраженно. — Послушание это, и его нести с покорностью надо, да и ты уже не новичок-послушник, а монах!

С минуту стояли молча. Наконец Макарий смягчился:

— Понимаю тебя, Кирюша. В этом чине ты только еще на пути к монашеству. Знаю, что рановато тебе еще монастырь покидать, от братии отрываться. Поддержка тебе пока нужна. Но и ты пойми: больница без врача, а туда ведь страждущие приходят. Кто им поможет? Так что завтра же иди. Там в поселковой церкви отец Игнатий служит, вот он и будет твоим духовником и наставником на это время. Я ему записку напишу, передашь. Помочь людям надо, Кирилл, я уже и старосте обещал, мол, поможем. Послушание, брат Кирилл, это испытание на твердость веры, прежде чем на следующую

духовную ступень подняться – в малую схиму. Я не говорю, что если выдержишь, то станешь истинным монахом. На следующий чин пострижешься? Да! Но и тогда твоя любовь к Богу будет подвергаться испытаниям. И так будет до конца твоей жизни.

Разговор закончился, но брат Кирилл продолжал молча идти рядом с игуменом. Макарий понял, что молодой монах хочет что-то спросить, но не решается, и не торопил Кирилла, ждал. Только у монастырских ворот тот тихо и неуверенно начал говорить:

– Давно хотел спросить у вас, отец Макарий: может ли монах в миру жить?

Они долго стояли молча и смотрели друг другу в глаза. Ветер разевал их волосы, выбившиеся из-под шапок, трепал бороды. Вскоре Кирилл не выдержал и отвел глаза в сторону; игумен начал вкрадчиво и назидательно говорить:

– Да, брат, может! Надо, казалось бы, всего-то получить на это благословение и послушание, например, помогать страждущим в психиатрической больнице или помогать в детдоме. Да! Казалось бы! И о таких случаях я слышал. Но за всю мою монашескую жизнь мне такой человек не встречался! И я не удивляюсь этому, поскольку жизнь в миру вся пропита на греховностью. И этому я тоже не удивляюсь, потому как греховность и есть суть существования людей в том мире. А иначе зачем были бы нужны монастыри? Устоять монаху против искушений если и возможно, то крайне трудно, и не

надо обрекать себя на страшные духовные и телесные муки! Монахом надо жить в монастыре, а в миру надо хранить Веру в душе и помыслах, жениться, завести детей, воспитывать их в христианских традициях. Семья и будет опорой в жизни, оберегающей от греховных помыслов.

Игумен замолчал и еще долго стоял, обратив задумчивый взгляд куда-то вдаль, будто с сожалением вспоминая о чем-то.

Кирилл поклонился игумену, повернулся, натянул шапку глубже и пошел помогать братьям разгребать снег. Макарий посмотрел ему в след, слегка улыбнулся и трижды перекрестил его.

Медленно светало, и когда, перейдя монастырское поле, брат Кирилл подошел к лесу, все вокруг уже виделось отчетливо. Деревья стояли в снегу, и монах, идя через лес, заворожено смотрел вокруг. Ему вспомнился городской заснеженный сквер и Николай Васильевич. «А ведь он не стал переубеждать меня, а сразу же начал помогать в моем намерении уйти в монастырь! Почему? – подумал инок. – Наверное, вид у меня был столь жалкий, что он и не решился что-либо возразить. Даже о причинах не стал расспрашивать. Я был тогда уверен в правильности своего выбора! А уверен ли я так же сейчас, когда мысли о спасении души идут рядом с мыслями о том, кто виноват, что мирская жизнь моя не сложилась?»

На краю леса, у самого поселка, на одном из деревьев кто-

то подвесил кормушку для птиц, и Кирилл долго смотрел на снегирей: он видел их впервые. «Как же хорошо жить!» – подумал он.

Ноги стали замерзать, и монах быстрым шагом направился к поселковой церкви. Одновременно с ним к ней подошел и отец Игнатий. Кирилл протянул ему записку игумена Макария. Прочитав ее, батюшка сказал:

– Староста, Евдоким Прохорович, уже предупредил меня, что монастырь обещал помочь с врачом. Сам-то он в район уехал, завтра будет, так что иди сейчас прямо в больницу. Пойдешь по этой дороге, – и показал рукой, куда идти, – на окраине поселка слева найдешь больницу, не забудься.

Минут через десять брат Кирилл уже вошел в одноэтажное здание с красным крестом над дверьми и вдруг встал как вкопанный. Воздух! Больничный воздух, пропитанный запахами медикаментов, хлоркой и людским горем – воздух, который, как он думал, уже забыт навсегда, неожиданно одурманил голову, и его начало чуть пошатывать. Мгновение – и Кирилл почувствовал, что порог отделил от него монастырскую жизнь и он оказался в миру. Он сразу же по привычке хирурга стал закатывать рукава. «Я врач!» – мелькнула мысль.

Теплая волна, ударив в голову, стала разливаться по всему телу... Через несколько мгновений он очнулся.

– Здравствуйте, православные, – громко сказал Кирилл. Сразу же из комнат прибежала пожилая женщина и моло-

денькая девчонка. Они по-христиански низко в пол поклонились новому человеку.

— Дождались наконец-то вас, батюшка, — сказала та, что старше. — Меня звать Авдотья Марковна, а помощница моя — Аннушка. Как вас-то будем звать?

— Кирилл Максимович, — ответил гость и обратился к Авдотье Марковне:

— Уже все знают, что придет монах?

— Да, в деревне, пусть и большой, батюшка, ничего не скроешь, — быстро ответила Авдотья Марковна. — Да и вы, поди, в рясе ходить будете?

«А права она, одежды другой, кроме монашеской, у меня нет! — подумал Кирилл. — Может, ряса и поможет мне в общении с больными: доверия и уважения больше будет?»

— Ну, хорошо, показывайте больницу.

Комната, где ему предстояло жить, Кириллу понравилась — небольшая, уютная, ничего лишнего: письменный стол, шкаф с историями болезней, второй шкаф-библиотека, до предела уставленный книгами, и простая кровать. «Напоминает келью», — подумал он и с трудом оторвал взгляд от книг.

Рядом с комнатой-кабинетом находилась маленькая кухонька. Вся больница состояла из палаты для больных, смотровой, процедурной, комнат для лекарств и инструментов. Кирилл остался доволен осмотром: везде чистота, белье на койках свежее, запас инструментов и ассортимент аптеки продуманы до мелочей.

– Не ожидал! – не поворачиваясь к сестрам, проговорил он.

– Спасибо нашему доктору, Максиму Леонидовичу, – быстро, но с достоинством ответила Авдотья Марковна. – Все его трудами. Он когда еще молоденьким к нам приехал, здесь всего-то фельдшерский пункт был в покосившейся избе.

Пациентов в этот день не было, и Кирилл углубился в чтение книг. Библиотека содержала в основном медицинские руководства. Кирилл выбрал справочник по психиатрии и, открыв книгу наугад, попал на страницу, посвященную неврозу навязчивых состояний. Он так увлекся чтением, что не заметил, как стемнело. Когда случайно взглянул на часы, понял, что вечерняя служба в церкви давно прошла. «Что со мной? – в панике подумал он. – Я забыл о молитве!»

Быстро оделся и побежал к дому, где жил отец Игнатий. Тот еще не спал и, выслушав брата Кирилла, сказал:

– Понимаю. Такое уж послушание – не знаешь, что может случиться через минуту.

Брат Кирилл облегченно вздохнул.

Начались больничные будни. Посетителей приходило немного, и новый доктор был рад любому пациенту, пусть даже с занозой или мозолью. Понимал, что радость неуместна: человек-то болеет, а все же радовался оттого, что чувствовал себя нужным людям. Беря в руки какой-нибудь ин-

струмент, он ощущал нечто давно знакомое – стерильное и прохладное. Иногда, если его никто не видел, он открывал пузырек с каким-нибудь лекарством и, улыбаясь, прикрыв глаза, с блаженством вдыхал его запах. Белый халат всегда стирал сам и затем долго и тщательно его отутюживал. Медицина – это была его суть, и призвание к врачеванию все отчетливее проявлялось из-под монашеского облика, который предполагал безразличие ко всему мирскому. Когда-то в самом начале работы врачом он ощущал только это призвание, теперь же после жизни в рясе прибавилось, как он понимал, самое главное для врача – чувство сострадания к страждущим. И не только! Теперь он начал чувствовать любовь к людям – ко всем людям.

Все сильнее проявлялся интерес к жизни: он отмечал преданность к делу Авдотьи Марковны, деловитость и настойчивость старосты поселка, безграничную любовь к людям отца Игнатия и, наконец, его глаз радовала стройная, худенькая фигурка Аннушки; он краснел, но оторвать взгляд не мог. Девушка, конечно же, заметила, что нравится новому доктору. Кирилл все это понимал и удивлялся: монах должен уходить от всего мирского, само слово монах означает одиночество; он должен любить одного Бога и всю жизнь приближаться к пониманию Господа. Все свободное время он закрывался в кабинете и читал. Ночами он заставлял себя оторваться от книг и молиться. В церковь ходил нерегулярно, и отец Игнатий не выговаривал Кириллу и не сообщал

об этом игумену Макарию.

Кирилл убеждал себя, что он монах и только исполняет послушание, и одновременно он понимал, что ему выпало серьезное испытание веры – испытание, которое он может и не выдержать. В его голове мир раздавался: работая врачом, ощущал себя мирянином, а уединившись в молитве – монахом.

Однажды в больницу зашла женщина из соседней деревни, лет двадцати двух – двадцати четырех и попросила проверить, беременна она или нет.

– Авдотья Марковна, может, у вас где-нибудь в чулане или за шторкой и гинекологическое кресло имеется? – спросил, улыбаясь, Кирилл. – Пусть складное и на колесиках.

– Нет, Кирилл Максимович. Чего нет того нет.

Он попросил пациентку пройти к смотровой кушетке, и, обернувшись, сказал:

– Анна, ты будешь мне помогать.

Во время осмотра пациентки Кирилл обратил внимание, с каким напряжением смотрела на все его манипуляции Анна. Лицо ее сильно побледнело, и в глазах стоял даже не страх, а ужас.

– Анна, выйди на улицу, подышши.

Когда осмотр закончился, он спросил Авдотью Марковну:

– Что с Анной?

– Я ничего не заметила! – ответила та.

По тому, как сестра отвела взгляд в сторону, он понял, что его помощница либо знает причину, либо о чем-то догадывается, но говорить об этом не хочет.

Молодой монах шел из церкви в хорошем настроении: сегодня отец Ипполит похвалил его, сказав, что люди не только стали уважать Кирилла, но и полюбили за искреннее стремление помочь страждущим. День был солнечный и тихий, казалось, все вокруг замерло, слушая благодатную тишину, и только искрящийся снег поскрипывал под ногами. В этом скрипе Кириллу слышалось: «Хорошо, хорошо, хорошо...».

Оглядываясь вокруг, Кирилл подумал: «А ведь на самом деле хорошо! Скоро весна! Все начнет оживать, и так будет из года в год, всегда, вечно».

Вспомнилась его келья, братья, игумен. Легкая грусть охватила монаха, но неожиданный легкий порыв ветерка взлохматил его волосы, уже тронутые сединой на висках, и он, встряхнув головой, вновь погрузился в блаженство.

Уже на подходе к больнице неожиданно со стороны сарай, где хранилось старое больничное имущество, его внимание привлек еле различимый звук, похожий на вздох. Кирилл подумал, что ему послышалось, и уже хотел пройти мимо, как услышал стук чего-то упавшего на пол. Позже он готов был побожиться, что так и не понял, почему не задумываясь кинулся в сарай.

Обхватив одной рукой Анну вокруг бедер, второй рукой

попытался снять с шеи веревку, но дергающееся в конвульсиях тело выскользывало, и он вновь и вновь перехватывал его и снова приподнимал. Наконец ему удалось снять петлю. Он хотел уже нести ее в больницу, но тут раздался хрип и сильные судороги начали ломать ее тело. Кирилл уже не мог удержать ее на руках и, положив на пол, прижал своим телом. Она дышала урывками, то громко втягивая в себя воздух, то с силой выталкивая его из груди, то совсем переставая дышать. В эти мгновения тишины монаха охватывало отчаяние и спина покрывалась холодным потом. Вскоре дыхание восстановилось, и Анна затихла. Открыв глаза, девушка безумным взглядом стала оглядываться вокруг. Посмотрев вверх, где на перекладине висела веревка с петлей, все вспомнила и начала рыдать и вырываться из рук монаха. «Зачем? Зачем ты это сделал? Я не хочу и не буду жить!..»

Кирилл донес обессилевшую и уже безразличную ко всему Анну в больницу и положил на кровать; она отвернулась и смотрела в стену больничной палаты.

Подбежала Авдотья Марковна, держа в руке шприц.

– Успокоительное?

– Да.

– Вводите!

Когда Анна затихла и закрыла глаза, Кирилл спросил:

– Авдотья Марковна, вы что-нибудь понимаете?

– Да, Кирилл Максимович, – с трудом произнося слова, начала рассказывать медицинская сестра. – Анне восемна-

дцать еще только весной будет, а она беременна. Позора боится и своего, и деда: он же тут уважаемый человек – староста! Аборт делать боится и замуж за того парня, Федора, выходить не хочет. Натворила дел девка! А как только вы у нас появились, так она в вас влюбилась.

Неожиданно Анна, не приходя в себя, тихо произнесла:

– Да, – и вновь погрузилась в забытье.

– Я не говорила об этом, надеясь, что все как-то устроится, но после вашего появления здесь это уже третий раз, когда она пытается что-то сделать с собой, – сказала сестра, не глядя в глаза Кириллу; голос ее дрожал и на лице отражалось отчаяние. – Первый раз я схватила ее за руку, когда она уже собиралась вскрыть вены, затем я заметила пропажу в аптечке сильнодействующего лекарства и нашла его у Анны в кармане халата. Кирилл Максимович, надо что-то делать!

– Что? – произнес молодой врач, зная ответ.

После долгого молчания пожилая сестра с трудом произнесла:

– Или дать им обоим, Анне и ребенку, погибнуть, или спасти хотя бы мать.

– Авдотья Марковна, от вас ли слышу? Мы же все трое верующие! Аборт – это страшный грех – это убийство! Никакие молитвы не спасут наши души, Бог отвернется от нас, не будет нам спасения. Я монах, Авдотья Марковна, монах, и никогда не сделаю этого. Пусть в район едет!

– Да как же она поедет? Она никогда из поселка не уезжа-

ла, какие дела могут быть у нее в городе? Хоть и на один-два дня, но что она скажет деду? Вскроется все? Позор! Тогда уж она точно руки на себя наложит. Я верующая, но я еще и баба! Как ни объясняла ей о счастье материнства, а сам видел, что сегодня произошло. Тебе, Кирилл, решать! Только от тебя все зависит!

— Вы, Авдотья Марковна, ни на минуту не оставляйте ее одну, — задумчиво произнес Кирилл и ушел к себе в кабинет.

Повидала Авдотья Марковна на своем веку и поняла: «Ждать надо!».

Три дня в больнице стояла тишина: никто не обращался за помощью, и монах трое суток не выходил из своей комнаты, ничего не ел; первый день даже воды не пил — непрерывно молился. Иногда напряжение истощало его настолько, что он впадал в дремоту, но вскоре, открыв глаза, глядя на иконы, снова обращал свои помыслы к Богу. Он уже перестал просить Господа о том, чтобы Всевышний вразумил его. Он стал просить только об одном: «Пощади!»

Утром четвертого дня Кирилл вышел из кабинета. Поверх рясы на нем был белый халат, рукава были закатаны.

— Готовьте Анну, — только и сказал он Авдотье Марковне.

Через несколько минут он склонился над Анной, но так и остался стоять неподвижно. В больничной палате повисла гнетущая тишина. Еще только что Кирилл видел все отчетливо, как вдруг все вокруг стало расплыватьсь. «Бог пыта-

ется спасти меня, – подумал он отрешенно. – Поздно!»

Наконец пелена с глаз начала спадать, зрение почти восстановилось, и неожиданно в глаза ударил яркий свет и все вокруг погрузилось в полную темноту. Мелькнула мысль: «Прости, Господи!»

Через мгновение монах увидел очертания какого-то лица, которое медленно начало проявляться. Боль пронзила голову и ушла вниз, сжав сердце. «Нет, не хочу!» – в отчаянии подумал монах, понимая, что от него уже ничего не зависит.

Брат Кирилл пытался отвести взгляд, но куда бы ни поворачивал голову, он видел страшную рожу с рогами, на одном из которых висел нимб. Рожа непрерывно изменялась, но одно оставалось постоянным – жуткая гадливость, от вида которой по телу снизу вверх и обратно пробегали судороги. Тело монаха покрылось горячим потом и мурашками. Одновременно Кирилл услышал ангельское пение – оно становилось громче, громче и наконец, вытеснив рожу, заполнило весь мир. Инок чувствовал, что блаженные звуки вытеснили и его «я», и ему нигде нет места во Вселенной: его душа витала где-то между мирским и божественным.

Пение смолкло, а боль в сердце стала невыносимой. Отчаяние и тоска охватили монаха. «Где я? Бесы? Зачем? Бежать, спрятаться в своей келье, где мне было покойно и где мы будем только вдвоем – я и Он! Бежать, сейчас же!» – пронеслось в его голове.

Крикнув то ли бесу, то ли Анне: «Во-о-о-н!» Кирилл вы-

скочил в прихожую. Он никак не мог попасть левой рукой в рукав пальто. Распахнутый наполовину и не осознавая, что он делает, стремительно вбежал в кабинет, схватил одну из икон, прижал ее рукой к груди, запахнул пальто и выбежал из больницы. С безумными глазами шел он через белое за-снеженное поле. Ветер разевал его мокрые от пота волосы и рукав пальто. Ноги запутывались в глубоком снегу: он падал, вставал и снова падал, и опять вставал. «Только уберечь!» — непрерывно повторял он и сильнее прижимал рукой икону.

Он почти ничего не видел перед собой, но знал, что если и есть для него, грешника, спасение то оно в монастыре, в келье, в молитве. На полпути к монастырю силы покинули его, и он, упав и обтерев лицо снегом, пополз.

Монах, открывший ворота, вскрикнул, отшатнулся и побежал к игумену. Кирилл добрался до своей кельи, попытался взобраться на кровать и…

Игумен Макарий, трижды перекрестившись, вошел в келью брата Кирилла. За ним чуть поодаль краудучись последовали монахи. В келье было темно. Попытались включить свет – не включился.

– Свечи! – приказал игумен.

Принесли свечи, зажгли и разом все, вскрикнув, отпрянули назад. На полу с всклочеными волосами сидел, облокотившись спиной на кровать, монах Кирилл, полностью на-гой. Его лицо было перекошено, глаза смотрели на вошедшего.

ших, рука указывала на икону в дальнем углу кельи. Разобрать в полумраке, кто изображен на иконе, было невозможно, но в мерцании свечей казалось, что святой хохочет, строя страшные гримасы. Глаза брата Кирилла выражали ужас и безумие. Неожиданно порыв ветра распахнул окно, свечи погасли, и в полной темноте раздался нечеловеческий вопль, зовущий куда-то в самые глубины сознания, откуда не возвращаются. Раздался гром, и молнии засверкали одна за другой. В краткие мгновения света мелькало мученическое лицо брата Кирилла, и при каждом всплеске молнии оно было разным, но всегда перекошенным судорогой. Казалось, в душе монаха сам Господь борется с Сатаной. Наконец все стихло. Игумен и монахи стояли, оцепенев и в полном безмолвии...

Свет включился сам собой. Кирилл по-прежнему сидел в той же позе, но глаза его не выражали ничего – взгляд их был пустым. Все: одежда, постельное, занавеска на окне – все было изорвано и разбросано на полу, но ни одна из святых книг не была тронута: все они аккуратно стопками лежали на подоконнике и на столе. Невидящий взгляд монаха был обращен к иконе Святого равноапостольного Кирилла. По губам монаха можно было угадать, что он непрерывно повторял: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного, Господи Иисусе Христе... Господи Иисусе Христе...»

Все облегченно вздохнули. Помешательство? Здесь видели и не такое. Вскоре брат Кирилл затих, и все вышли из его

кели.

— Надо бы его в психиатрическую больницу отвезти, но до-
рогу до трассы так замело, что не проедет скорая помощь, —
сказал Макарию отец Ипполит. — И оставлять его здесь в та-
ком состоянии нельзя. Что делать-то будем?

Игумен молчал, он и сам все это понимал. Минуты через
две он принял решение:

— Выбора у нас нет, отправляй монахов с носилками в по-
селок, в больницу. Может, помогут брату Кириллу, успоко-
ительные лекарства-то у них имеются, а мы молиться за него
будем, а там как Господь положит.

Шесть человек в черном несли носилки через заснежен-
ное поле. Со стороны казалось, что шла похоронная процес-
сия. Шли монахи медленно, молча, по следам, проложенным
сегодня самим же братом Кириллом. В этот день не мело и
следы хорошо виднелись. Иногда кто-то из братьев оступал-
ся, падал, вставал и вновь подставлял плечо. Никто тогда не
думал, что это путь в один конец. Большой постоянно вздра-
гивал и иногда в бреду что-то говорил. Тогда братья останав-
ливались и, не опуская носилок, пытались понять его слова.
Разобрать удавалось только: «Господи, дитя, спаси!»

Очнувшись через два дня, Кирилл с удивлением увидел
над собой белый потолок и подумал: «Где я?»

В палату вошла Авдотья Марковна со шприцом и, увидев открытые глаза больного, вскрикнула:

– Слава Богу, пришел в себя! Анна, беги сюда! Очнулся, теперь на поправку пойдет.

Женщины стояли около койки и улыбались. Монах вспомнил все и, отвернувшись, тихо произнес:

– Спасибо… сестры.

По выздоровлению Кирилл не возвратился в монастырь, а продолжил работать в поселковой больнице. Вскоре стало известно, что прежний врач не вернется: ему требовался уход, и он будет жить в районном центре у двоюродной сестры.

Не раз Евдоким Прохорович говорил молодому врачу:

– Полюбился ты людям. Оставайся у нас? Я тогда отзову заявку на врача, а пошлю в район запрос, чтобы тебя врачом утвердили.

– Нет, уеду.

От предложенных старостой денег тоже отказался:

– Монахом пришел, монахом и уйду! Вы, Евдоким Прохорович, только распорядитесь новое монашеское сшить – пообносился я. Хочу вернуться в мир в рясе.

На том разговор их и заканчивался.

Весенним солнечным днем, к радости Кирилла, приехал новый врач: юный, улыбающийся, слегка кругленький, с доб-

родушным выражением лица. На следующее утро, накануне попрощавшись со всеми, они пешком отправились на станцию. От предложенной старостой машины он отказался: хотел почувствовать себя свободным и независимым ни от кого. Кирилл был одет в рясу: он еще не был готов снять ее и отделить себя от Бога; да и не предавал он Господа, а уносил его в своем сердце. Улыбаясь и тихо насвистывая, молодой человек любовался весенним проснувшимся от спячки лесом и чувствовал, что душа его тоже просыпается. С собой он нес одну из двух икон, с которыми когда-то явился в поселок. Это была икона Богоматери с младенцем. Другую икону он повесил в больничной палате, чему до слез обращалась Авдотья Марковна:

— Вот и память о вас останется, Кирилл.

В одном месте лес поредел, вдалеке стал виден монастырь. «Ну что же, это теперь не только факт моей биографии — это часть моей жизни, навсегда изменившая меня. Монастырь открыл для меня Бога, и Он всегда будет во мне!» — подумал Кирилл.

Ранним воскресным утром Николай Васильевич варил на кухне кофе, когда раздался входной звонок. Он открыл дверь и с удивлением увидел на пороге обросшего монаха в рясе и с ним очень юную девушку. Только взглянув на нее, старик понял, что та беременна. Он растерялся и не знал, что сказать. Монах улыбался и тоже молчал. Наконец раздался

радостный голос:

– Это же я, Николай Васильевич, я – Кирилл!

Старик наконец узнал Кирилла, отметив про себя, что на висках волосы уже тронула седина, улыбнулся и, с удивлением посмотрев на девушку, снова перевел взгляд на нежданного гостя.

– Жена моя, Анна, – пояснил Кирилл. – Мы ребенка ждем!

– Вернулся я, Николай Васильевич, вернулся насовсем в мирскую жизнь. Не получился из меня монах. Игумен сказал: «Ты людей слишком любишь. Не пересилит в тебе любовь к Богу!» – начал свой рассказ Кирилл.

Всю ночь они пили кофе и разговаривали. Анна, чему-то улыбаясь, спала в соседней комнате. Молодой человек был рад, что может рассказать все накопившееся в душе за прошедшие несколько лет. Рассказывал, а нет-нет да и мелькала у него мысль: «Вроде Николай Васильевич и случайный человек, а все же близкий мне».

Только к утру Кирилл закончил свой рассказ. На кухню пришла Анна, села рядом с Кириллом, положив голову ему на плечо.

Помолчали…

– Николай Васильевич! Почему тогда вы не стали отговаривать меня от моего решения уйти в монастырь?

– Объясню… – и старик замолчал, отвернувшись и глядя в окно.

Кирилл с Анной видели, что тому трудно вспоминать прошлое.

После тяжелой паузы старик начал рассказывать:

– Несколько лет назад умерла супруга, и я остался совсем один. От отчаяния и одиночества я обратился в ту же церковь в сквере и к тому же отцу Артемию с просьбой дать мне благословение в монастырь. Я не видел смысла и возможности дальше жить в миру. Батюшка расспросил меня о моем здоровье, и я честно все рассказал. Он объяснил мне, что в монастырь мне нельзя, поскольку там нет врачей и в случае обострения болезней помочь будет некому. Я понял, что в монастырь меня не возьмут. Позже отец Артемий стал моим духовником и помог найти смысл в дальнейшей мирской жизни. Воистину святой человек!

И старик снова замолчал.

– Да-а-а! – наконец произнес Николай Васильевич, посмотрев на Кирилла. – И что же ты делать думаешь?

– Вернусь в родной город и начну все сначала. Согласен и медбратьем работать: диплома-то меня никто не лишал! Я в монастыре веру обрел и в Господа, и в себя, и в людей. Теперь и рясу готов снять. Мне бы только приодеться в мирское на первое время. Я ведь денег за работу не брал и у деда Анны взять не решился. Поможете, Николай Васильевич?

– Конечно, Кирилл, конечно. Сейчас сходим, подберем тебе что-нибудь более подходящее, чем ряса.

Все трое рассмеялись.

Этим же вечером Кирилл с Анной уехали в Красноярск.

Старик еще долго стоял на перроне, глядя на уходящий вдаль поезд.

«Свидимся ли когда?..»

Бесы. Огни большого города

Спустя время молва гласила совершенно противоположное: одни говорили, что этого не могло быть по причине невозможности быть наяву и полной несуразности, по сути; другие охотно верили в то, что все было именно так, как и рассказано.

Местный дворник с неприлично красно-синим носом утверждал, что во всей этой истории нет ничего удивительного, и что он видел чертей не раз, и что от белой горячки сейчас очень даже легко лечат. Лифтерша утверждала, что видела, как черт дважды входил в лифт, но ни разу из него не выходил. Соседка слева рассказывала, что после этого случая лифт на их этаже перестал останавливаться. А сосед выше божился, что лифта в их доме вообще никогда не было, как и самой лифтерши. Участковый подал рапорт по инстанциям, что с того самого дня не может заснуть по ночам, так как из местной лечебницы раздаются крики «Камаринскую...» и затем нечеловеческое «Не-е-е-т!!!», и просил перевести его на другой участок, приписав в конце рапорта: «Навеки Ваш». Сантехник в свою очередь объяснял все тем, что, мол, бросают всякую пакость в унитаз – оттого и все безобразия происходят!..

Так или иначе, но все началось еще с ночи.

В центре стоял большой дубовый стол. Впрочем, в центре чего? – было непонятно. Уж так водится у нас: раз стол, так обязательно в центре и обязательно, чтоб дубовый. Ну, в центре, так в центре. Вся картина напоминала Тайную вечерю, вот только за столом сидели... черти. Сколько их? – сосчитать было невозможно, оттого что все было как-то неопределенно. В центре всей компании сидел седой черт с чертовски мудрым выражением морды; один рог у старца был обломан. Черти пили водку: наливали стакан за стаканом, не чокаясь и без тостов. Тянули грустную песню: «...а пошла бы я по воду да к реченьке, ах ты доля моя одинокая, ах одна я сиротинушка...» Чертчи любили хорошую музыку, за которую считали ту, от которой хотелось... либо повеситься, либо, на худой конец напиться. И если бы не озорные и со злым блеском глаза чертей, то можно было и взгрустнуть, и всплакнуть вместе с ними. Пили, всеми силами изображая дружное застолье. На самом деле, каждый из них был сам по себе, и если уж и объединялись когда, то только по необходимости, если обстоятельства того требовали. Впрочем, и пьянеть им не полагалось по природной их натуре. Повод? А не было повода – так, без повода, как и у смертных частенько бывает, – мол, традиция.

Старый черт, что с отломанным рогом, вдруг встряхнул головой, огляделся и громко крикнул:

— А не сплясать ли нам? Что мы все о судьбе, да о доле нашей чертовой?

Черти не заставили себя долго ждать: повскакивали дружно и, ухватившись за стол со всех сторон, передвинули его, освободив центр.

— «Камаринскую!» — крикнул старый черт.

И все подхватили:

— «Камаринскую», «Камаринскую»!

Черти вступали в центр с «выходом» и с криком «Эх!» Они подскакивали, вертелись, пускались в присядку, прихлопывали себя по телу в разных местах, а то, вдруг пускались в круговую, на ходу ставя копытца то на пятку, то на носок. Каждый пытался переплясать других, и оттого, что каждый плясал сам по себе, картина представлялась настоящим шабашем. А уж когда кто-то высакивал из дико извивающейся толпы вперед и со злобной улыбающейся мордой приветливо разводил лапы широко в стороны, приглашая присоединиться к пляске, и затем снова нырял в самую середину, то у наблюдавшего мурашки пробегали по спине, хотелось укусить чью-нибудь пятку и полностью мутлилось в голове.

Уже невозможно было понять не то что, где лево, а где право, но и где верх, а где низ. Все смешалось: и «Камаринская», и «Цыганочка», и «Русская», и «Перепляс». Дело было дрянь... что особенно нравилось чертям.

Вдруг все расступились, освободив середину, и стали

неистово орать:

— Покажи, старый, как надо, покажи свою, коронную!!!

Старый черт неторопливо, с достоинством, надел на голову косыночку, завязал края под подбородком, взялся указательными и большими пальцами лап за края косынки, растопырил остальные пальцы веером, локти широко развел в стороны и остановился в самой середине, приготовившись.

— «Калинку»! — раздалось со всех сторон.

Тихо и задушевно потусторонний голос, набирая силу, запел:

— Спа-а-ать положи-и-те-Э вы-ы-и ме-е-Э-Э-НЯ-Я-А-А...

Старец пошел по кругу, делая по два шажка то левой ногой вперед, то правой и со значением повиливая и играя бедрами... Поражало, как хорошо он знал и исполнял все телодвижения танца. Видно было, что танец доставлял ему истинное удовольствие. Однако природное его телосложение, данное ему то ли Господом нашим, то ли их Сатаной, придавало всему чертовски уродливый вид, но поражало и... захватывало.

Когда же грянул куплет:

— Калинка, калинка, калинка моя... — старый закружился волчком, держа платочек в вытянутой вверх левой лапе, и все снова бросились плясать. Тут и там из беснующейся своры высакивали то козлиные ноги с копытами, то волосатые лапы с когтями, и, то там, то тут мелькали злые, с безумным блеском, глаза чертей и слышалось многоголосое:

– Ай, люли-люли...

И вдруг... старый остановился, потупил голову, согнул в коленке одну ногу и вытянул вертикально другую, на несколько мгновений замер, сделал бедрами несколько резких движений вперед-назад, держась правой лапой за причинное место, и пошел как бы вперед, но на самом деле назад – лунной походкой Майкла Джексона!!!

Дальнейшее не поддается описанию никакими словами, и можно только заметить, что... пахло луком и квашеной капустой!!!

– А-а-а-а-а-а!..

Вакханалия была в самом разгаре...

Небо на востоке уже начало светлеть, как неожиданно послышался гул мотора приближающейся машины. Гул приближался быстро и вскоре превратился в настоящий рев, заглушая музыку и вопли чертей.

Вся картина начала блекнуть и таять.

Старый черт перестал плясать, лапы его плетями повисли вдоль тела, и мысли его оборотились в прошлое: «Эка напасть! А ведь было время – на тройках, да с колокольчиками», – и он произнес: «Эх, тройка! Птица-тройка... понеслась, понеслась, понеслась!.. Русь, куда ж несешься ты?.. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух...»

Наконец, рассеялся в предутреннем тумане и старый черт.

Петя очнулся в то прекрасное предутреннее время, когда случайно проснувшиеся граждане с удовольствием поворачиваются на другой бок и снова засыпают. Звезды уже гасли, но были еще вполне различимы. Тишина была пронизана той первозданной красотой и гармонией, которая бывает, когда рождается новый день.

Он попытался сконцентрировать взгляд, но все вокруг было расплывчато и зеленоватого цвета; почему-то было сыро только справа, как будто он попал под дождь только правым боком и промок им, этим самым боком, насеквоздь. Впрочем, он быстро сообразил, что лежит именно на правом боку. Голова сильно болела, во рту было сухо и противно. Вода была рядом, под боком, и он, недолго думая, хлебнул холодной полным ртом. Вода была странного вкуса, отдавала тиной и бензином. Не успев проглотить, молодой человек вдруг почувствовал некое шевеление во рту и сразу же выплюнул все, что хлебнул. Что-то серо-зеленого цвета шлепнулось рядом с его лицом и, недовольно квакнув, исчезло из поля зрения. Однако пить все же хотелось, и он осторожно втянул в себя воду, сложив губы «трубочкой», подождал, не зашевелился ли опять, и... проглотил. Замерев, он с блаженством ощущал, как животворящая влага, проникая во все члены его тела, возвращала их к жизни.

Придя немного в себя, Петр снова попытался сконцентрировать взгляд и опять увидел зеленоватую пелену. Это зеленоватое было настолько близко от него, что навести на рез-

кость глаза было никак невозможно.

«Да где же я, черт побери?» – в сердцах подумал он.

– Ну не надо, не надо так нервничать, уважаемый… Петр Сергеевич. Вы, любезнейший, в канаве, – раздался дружеский и располагающий к себе голос.

– Как это – «в канаве»? Опять? – растерянно и еще надеясь, что ему послышалось, спросил молодой человек.

– А вот так, натурально-с, в канаве-с! – уверенно и со значением ответил голос.

Петя, наконец, повернул голову влево и на фоне Большой Медведицы увидел человека, сидящего на обочине дороги.

– Да, действительно, опять в канаве, – озадаченно произнес он и внимательно стал разглядывать незнакомца. Ничего особенного в нем не было: среднего роста, худощавый, одет прилично, но как-то несовременно. Бородка похожа на козлиную. Глаза постоянно бегали; противная и, можно сказать, гадкая улыбочка не сходила с его губ; руки он постоянно держал в карманах. Шляпа была надета набекрень и как бы висела на чем-то с одной стороны, что мешало ей опуститься и принять свое естественное положение.

«Если бы еще хвост, то точно мне черт привиделся!» – подумал Петр Сергеевич.

– Давайте не будем – понапридумали: хвост, рога… копыта, еще скажите, – с деланным возмущением произнес человек на обочине.

«Точно, черт, – подумал Петя. – Тыфу меня!»

Он вдруг ясно услышал стук приближающихся каблучков и попытался закричать, но вышло шепотом, и то осипшим: «Женщина, женщина», – звук каблучков затих, несколько мгновений была полная тишина, затем каблочки стали быстро-быстро удаляться.

– Ну хорошо, давайте будем пугать прохожих, давайте дождемся полиции, пусть узнают на работе, что вы ночуете в канавах. Вы этого хотите? Да? – спросил человек на обочине.

– Нет, – потупив взгляд обратно в канаву, тоскливо проговорил Петя.

– А как мне вас звать? – уже смиряясь, спросил он.

– Зовите меня, ну… например брат – пойдет? И можно на «ты».

– Пойдет. Брат, помоги встать, – поняв свою беспомощность, ответил Петя.

Минут через …дцать, под ручку, как говорится, держа ручку крендельком, они добрались до дома. Хозяйка, у которой Петя снимал комнату – сам-то он был из провинции и приехал в центр «покорять» большой город, – охнула, покачала головой и сказала:

– Костюм-то я приведу в порядок, а только вы, Петя, по кривой дорожке идете.

– Какой сегодня день? – спросил он с надеждой.

– Да суббота, суббота! Успеете еще в себя прийти. И опустите руку, наконец, что это вы все, подбоченяясь, стоите? – ответила хозяйка.

«Значит, не видит того, который меня привел», – подумал он.

Когда дверь в комнату захлопнулась, незнакомец, огляделвшись, вдруг предложил:

– А давайте, Петр Сергеевич, выпьем... водки! Поправиться, так сказать, а то на вас просто лица нет.

Чувствовалось, что обращаться к Петре по имени-отчеству доставляло новому знакомому особенное, но, похоже, какое-то ироническое удовольствие. Петя никак не мог взять в толк: издевается он над ним или нет?

– Не-е-е, я только вино, и только один стакан, – возразил он.

«Ну-ну!» – усмехаясь, подумал про себя то ли черт, то ли брат, в общем – незнакомец, а еще проще – гость.

– Один, так один, – сказал гость. – А я – водочки! – На столе появилась бутылка вина и бутылка водки.

– Ну что? Со свиданьицем? – сказал гость, выпил стакан водки одним глотком, после чего, крякнув, стал наблюдать за своим собутыльником.

Молодой человек выпил медленно, преодолевая отвращение к какому-либо виду алкоголя вообще, а заодно и к самому себе. Выпив, он прислушался к себе; гость тактично молчал. Закрыв глаза и замерев, не ставя стакан на стол, Петр подождал, пока теплая волна окутает голову, снимая похмельную боль, затем разольется по телу от живота к рукам и ногам. Только после этого, как бы очнувшись, он поставил ста-

кан на стол все еще дрожащей рукой.

Видя, как лицо молодого человека краснеет и оживает, гость быстро и уверенно предложил:

– Вдогоночку?

– Не, я только один стакан.

– Чтобы уж совсем прийти в себя, еще только один стаканчик, да и не водка это, а всего-то вино, – мягко, но убедительно сказал гость. – С него сильно не захмелеешь, а так, слегка только, как говорится, для здоровья.

С этим Петр спорить не стал и покорно снял ладонь со своего стакана, разрешая налить себе.

Махнули по второму, гость снова крякнул и произнес:

– Эх, хороша водочка, хороша – чисто роса.

Дрожь в Петиных руках уже совсем утихла. «Где-то я слышал уже эти слова», – подумал он и вспомнил, что так в его детстве говорил его дядя, возвращаясь по воскресеньям из бани, уже сильно поддатый. «Николай принес, – вспомнил он слова дяди, – и умеет же стервец делать водочку, просто кристалл, ну чисто роса. Как говорится: что для себя делал!»

Вспомнил молодой человек, что алкоголь в первый раз попробовал, только приехав в центр и устроившись на работу в одну из фирм. Отец то у него не пил вообще, и праздники встречали всегда дружной семьей и без алкоголя. В их провинциальном городишке пьянство было позором не только самого пьющего, но и его семьи. Да и на виду все были: город то маленький. В центре жизнь другая: то корпоративы, то в

ресторане вечером после работы посидеть, то на шашлыки в выходной куда-нибудь выехать. К тому же в большом городе людей встречаешь один раз в жизни, и стыдиться, что тебя вчера пьяным видели, когда домой добирался, не перед кем.

«Ты, Петя, белой вороной не будь, – сказал ему как-то его непосредственный начальник. – И свои провинциальные замашки брось. А то, как укор, нам всем получается: ты, мол, праведник, а мы грешники. Будь грешником, иначе нигде не приживешься. Сели за стол – так выпей, уважь». И действительно, после второй и провинциальность пропадала, и общаться становилось легко, и казалось, что к тебе даже прислушиваются, и что ты наравне со всеми.

«Все-таки, где же я видел его, этого «гостя»? – задумался Петя. – Ведь определенно, что видел раньше. Но где?»

– А я вам, Петр Сергеевич, подскажу, – неожиданно произнес гость.

– Откуда же вам знать, о чем я думаю? – снова переходя на «вы», спросил тот удивленно.

– Да так уж, знаем-с, однако, – с ехидцей сказал гость и спокойно пододвинул к молодому человеку наполненный стакан.

– Ну? – с нетерпением спросил Петр.

– Сначала махнем, а то без стакана вам, Петр Сергеевич, трудно будет уразуметь, – сказал гость, сделав ударение на слове «вам».

Молодой человек уже начинал хмелеть после двух стака-

нов, но, будучи, как говорится, «на вчерашних дрожжах» и подумав: «Всего-то вино!» – выпил и третий. Гость, опрокинув свой стакан водки, в очередной раз крякнул и сказал:

– Ох и хороша!

– Так я вас слушаю, – напомнил Петя.

– Не вас, Петр Сергеевич, не вас, а тебя! – назидательно сказал гость.

– Конечно же, тебя, тебя! Так где мы раньше могли встречаться? – спросил молодой человек, стараясь никак не обращаться к гостю.

– Так на том же самом месте-с, где и сегодня, у той же канавы, – охотно начал гость, – сегодня я ведь вам, любезнейший, Петр Сергеевич, в третий раз помог выбраться из канавы. В первый раз вы очнулись в канаве после того, как водки перебрали и пытались на автобусе доехать до своего дома. Вы, Петр Сергеевич, тогда как на фирму-то поступили, быстро к водочке-с пристрастились и вскорости принимали хоть и немного, но каждый день после службы. Сами за собой такой манер заметили и решили ограничиваться двумя рюмками. Корпоратив тогда был, разгулялись вы, ну и решили, что с третьей рюмки ничего не случится. В результате вы, любезнейший, напились, извините, как небезызвестное животное. В автобусе вас развезло, билет вы покупать откаzzались, начали громко выражаться: мол, едете по служебной надобности и билет вам не положен. Вот водитель и высадил, а точнее, вытащил вас из автобуса и аккуратненько так поло-

жил на обочину. А уж в канаву вы-с, Петр Сергеевич, сами-с и скатились. А уж как очнулись, так мы с вами в первый раз и встретились. Тоже, знаете ли, на рассвете.

— Так это ты помог мне в тот раз до дому добраться? — спросил Петр.

— Точно так-с, я и помог-с, хоть вы этого и не помните, — с готовностью ответил гость.

«Странно, — подумал Петр, — черт, а не все знает». На самом деле он помнил тот корпоратив — в честь дня создания фирмы, но только помнил его начало: первые минут 30-40. Он тогда решил выпить не две, а всего одну рюмку: налить сразу ее полную и потихоньку отпивать из нее с каждым тостом. Выпив сгоряча ее «до дна» после первого же тоста, который произнес глава фирмы, Петр был вынужден налить вторую. Через три-четыре тоста пришлось налить третью рюмку, и далее границы дозволенного стали быстро расплываться и исчезли совсем. Впрочем, что было дальше, Петр действительно не помнил.

Гость опять пододвинул к Петру стакан, и тот, покорно выпив и даже не обратив внимания, выпил ли гость, приготовился слушать дальше.

— Во второй раз вы оказались в канаве, когда вас водитель вытолкнул из такси. Вы опять же ехали домой, но теперь уже после того, как посидели с друзьями в пивном баре. Вы тогда решили, что раз уж вам хочется каждый день принять, то пусть это будет одна, ну максимум две бутылочки пива...

На этот раз вы поехали в такси, чтобы теперь-то уж наверняка добраться до дома. В такси же вы начали отчаянно икать, и таксист испугался, что вы испоганите-с салон... И опять же, извольте заметить: вы очнулись на рассвете. В этом у вас удивительное постоянство-с, Петр Сергеевич. Так мы снова встретились на рассвете, и, опять же, было ясное небо и видны были звезды. И далась вам эта Большая Медведица? – закончил рассказывать гость.

– Да-а-а! Провалы в памяти-с, провалы! – добавил гость.

И этот случай Петр помнил и помнил опять же только начало. Они заказали по две кружки пива. Оно оказалось теплым. Возмущались. Принесли еще по две, оставив, как подарок от бара, теплое на столе... А затем была водка.

Петр уже не подставлял свой стакан, а сам регулярно наливал себе вина – бутылка удивительным образом не заканчивалась.

– У вас странная речь, – снова переходя на «вы», сказал молодой человек.

– Извольте, любезнейший, объясню, – с готовностью подобрался гость. – На классике воспитаны-с, на классике: Гоголь, Достоевский... В отличие от вашего поколения терпеть не могу всякой мистики: ведьм, вампиров, зомби и прочее – тыфу, гадость какая!

– А сегодня-то что?

– А сегодня, в общем-то, тоже ничего оригинального не было, – продолжил гость. – Накануне вы решили, что, раз

уж с пива тянет на водку, перейти на сухое красное вино. С него, мол, и на водку не тянет, и врачи говорят, что красное полезно пить каждый день. Ну, так после очередной бутылки сухого вина вы и оказались опять в той же самой канаве. На этот раз вы решили дойти до дома пешком, но... сил не хватило.

— И заметьте-с, мой друг, я ведь за вами не ходил, под локоть вас не толкал, из-за левого плеча не нашептывал, а просто сидел и ждал на этом самом месте, у этой самой канавы, — сказал гость, с усилием изобразив на лице непогрешимую честность.

— Откуда же ты знал, черт тебя дери, что будет именно так? — спросил Петр.

— Все просто, уважаемый, все просто, — охотно ответил гость. — Ты думаешь, что идешь своим и только своим путем? Нет! Дорожка к канаве задолго до тебя протоптана!

— А я брошу! — твердо сказал Петр.

— Нет, Петюня, от алкоголизма в одиночку не убежишь. А в большом городе что? — Никому ты не нужен, — гость самодовольно и с горящими глазами наливал себе очередной стакан.

Петя почему-то вспомнился недавний телефонный разговор. Он тогда неожиданно для себя набрал номер домашний номер. Раздались длинные гудки. Что он хотел сказать, он и сам не знал. В трубке послышался до боли родной голос:

— Алло, алло! Ничего не слышу, алло, — произносил отец.

– Алло, алло!.. – повторял он опять и опять.

И тут Петю прорвало:

– Пап, это я, Петр.

– Петя, Петя, это ты? Ты же по воскресеньям всегда звонишь, а сегодня еще четверг. Случилось что? Вон у матери сердце ноет со вчерашнего дня. Мать, слышь, Петя звонит. Как там у тебя, Петя? – скороговоркой выговорил отец.

– Пап, плохо мне здесь, устал я страшно, – проговорил Петр, и глаза защипало от слез.

– Ну и плюнь ты на эти огни большого города, возвращайся. Работа и у нас в городе найдется. Возвращайся, а? Вот и мать рядом стоит, тоже говорит: «Возвращайся». К деду в деревню съездишь, проведаешь старого, да и отдохнешь, выпишься на сеновале.

И такое родное близкое растеклось по душе Петра, что потянуло его домой, туда, где его всегда ждут самые любимые люди.

– Па, да не могу я, – сквозь слезы проговорил Петя, – У меня работа, там трудовая книжка! И кредит я взял...

– А хочешь, скажу, что дальше будет? – продолжил гость, гадливо улыбаясь. И, не дожидаясь ответа, начал говорить:

– В конце концов, начнешь бутылочкой пивка поправляться перед работой, в обеденный перерыв бегать пивка попить. Как-нибудь придешь на работу в темных очках, чтобы синяк под глазом скрыть. А на каком-нибудь очередном кор-

поративе напьешься так, что будешь кричать, что уволишь всех. А затем, весь в долгах за наемную квартиру, со стаканом в руке, будешь сидеть у компьютера и рассыпать резюме, ища очередную работу, а затем...

Петя сразу же вспомнил, что в темных очках ему уже приходилось выходить на работу, и закричал в отчаянии:

– Стоп, хватит! Иди к черту! Я не алкоголик! – голова начала кружиться, мысли путались.

– Да подожди ты, подожди, не надо так кричать, – сказал гость, – я еще не закончил. Успокойся и закрой глаза на минуточку.

Петя, как в гипнозе, подчиняясь словам гостя, закрыл глаза. Он ощущал свое «я» и в то же время видел себя со стороны... Он падал спиной вниз – быстрее, быстрее, быстрее... Весь сжался в ужасе; падение казалось ему бесконечным; вот-вот, еще немного – и остановится сердце, не выдержав напряжения, и... он очнулся. Он лежал и боялся открыть глаза: боялся увидеть... Большую Медведицу и снова проснуться в канаве. Наконец, запах, похожий на аптечный, немного успокоил его, и он медленно стал открывать глаза. Вокруг все оказалось белым: потолок, стены... «Больница?» – мелькнула мысль, и, повернувшись на другой бок, он затих. Виделся ему длинный коридор и отец, стоящий рядом с человеком в белом халате.

– Сегодня к нему еще нельзя, – сказал лечащий врач, – и вот что я хотел сказать вам... – Отец молча выслушал слова

доктора и, сгорбившись и как-то сразу постарев, медленно и устало пошел по длинному больничному коридору.

Петя снова закрыл и открыл глаза. Гость стоял на том же месте и с любопытством смотрел на Петю. Глаза Пети медленно стали наливаться кровью.

— Так ты на белую горячку намекаешь? — злобно и тихо спросил он гостя.

— А что? Ты думаешь, это так уж невозможно? Ошибаешься, Петя, ошибаешься! Стоит два-три дня воздержаться после хорошего подпития, и поползут «постенные», — ответил тот.

— Я не алкоголик и запоев у меня нет! — выкрикнул Петя и стал с угрозой надвигаться на гостя, перекрыв тому путь к двери.

Черт, не ожидая такого поворота дела и видя решительность Пети, стал отступать все ближе и ближе к стене и, упервшись спиной, стал блекнуть, все более и более превращаясь в мираж; цветочки на обоях проявлялись сквозь его тело все четче, и, наконец... он растаял совсем.

В дверь постучали.

— Петя, у тебя все в порядке? — раздался голос хозяйки.

— Все нормально, — сказал он, лихорадочно ища что-то вокруг себя, — просто сон плохой приснился, Марья Федоровна.

— Костюм-то сними, дай почищу.

Он ничего не ответил и упал на кровать. В голове крути-

лось: «Это сон! Сон!» Провался два дня – до вечера воскресенья. Очнулся оттого, что его мучило и сильно болела голова. Что-то показалось ему не так, как будто чей-то взгляд непрерывно следил за ним. Уличный фонарь создавал в комнатае полумрак. Петр привстал с кровати, оглянулся вокруг, прислушался и, ничего не заметив, с облегчением повернулся набок, закрыл глаза и... вновь почувствовал на себе чей-то взгляд и тут же услышал слабый звук, похожий на постукивание. Он весь сжался и, медленно-медленно протянув руку, включил ночник возле кровати. Он снова оглядел комнату и уже готов был снова облегченно вздохнуть, как неожиданно заметил какое-то пятно на стене. Он встал с кровати, осторожно подкрался к стене, и... мурашки пробежали по всему его телу. На стене сидел паук, и его ножки постоянно шевелились и отстукивали копытцами какую-то очень знакомую дробь. На месте паучьей головы была голова черта. Черт был в той же шляпе и смотрел на Петю. Брюхо паука было непомерно раздуть и шевелилось, как будто кто-то елозил внутри него.

В бешенстве Петя бросился к стене и хлопнул ладонью, со всей силы по гадкому существу. Брюхо лопнуло, и брызги разлетелись по стенам комнаты на множество мелких пауков, заменивших собой цветочки на обоях. Пауки ползали по обоям и каждый раз, встречаясь друг с другом, произносили «Здрасьте», и именно через мягкий знак, отчего слово звучало особенно противно. Злые глаза чертей со всех сто-

рон смотрели на Петю. Слышались голоса:

— «Калинку», «Камаринскую»...

Вдруг все застыли на месте, смолкли, и непонятно откуда послышался тонкий жалостливый голосок, пропевший тенором:

— Полюби же ты-и-и ме-э-э-ня-а-а, — долго вытягивая последний звук.

Нервный тик страшно исказил лицо Пети. Он схватил первое, что попалось под руку, — это был мокрый ботинок — и стал соскрабать в него со стены пауков. Но те тут же вылезали из ботинка и по его рукам расползались по всему его телу. Отчаявшись, он издал вопль, упал на пол и закрыл глаза. Ему виделась его комната; по стенам что-то шевелилось, мелкое и уже почти не противное, — он начинал смиряться с судьбой... и голос — знакомый голос, с издевкой, но уверенно повторял и повторял: «Нет, Петюня, в одиночку не выкарабкаешься...»

В дверь стучались, раздавались голоса, но Петр уже ничего не слышал.

— Не-е-е-т!!! — собрав последние силы, крикнул он. Вспышка озарила комнату, и «мелкие» рассыпались по стенам и потолку бесчисленными звездами; стены комнаты и потолок раздвинулись до бесконечности. Петя уже не ощущал своего тела. Остатки его разума в одиночестве блуждали в холодном и безжизненном космосе. Его взгляд скользил по незнакомым созвездиям. Он стал закрывать и откры-

вать глаза, и каждый раз виделось ему разное: то белые стены, то небо сквозь дырявую крышу сеновала, то его фирма, где за столами сидели черти, и вся их работа заключалась только в том, чтобы произнести «Здрасьте!», когда кто-нибудь входил; все постоянно улыбались — глупо и заискивающе; постоянно слышалось: «любезнейший, милостивый государь, сударь, извольте заметить...»; глава фирмы в шляпе, надетой набекрень, и с полотенцем, перекинутым через руку, обращался поочередно ко всем, постоянно повторяя: «Чай пить будете?» — и... кланялся, кланялся. А то вдруг он стремительно поднимался к незнакомым созвездиям, и с высоты ему все казалось мелким и незначительным... Постепенно звезды сложились в созвездия, знакомые с детства. Петр задумчиво стал рассматривать небосвод, вспоминая их названия. Взгляд его задержался на Большой Медведице. Он стал вспоминать, что если провести мысленно линию через две крайних звезды ковша, то можно найти Полярную звезду. Вдруг холодок пробежал по спине; он стал лихорадочно ощупывать вокруг себя и... вздохнул облегченно:

«Сеновал!»

«Приснилось?»

Когда, наконец-то, вскрыли дверь, то оказалось, что в комнате никого нет и все затянуто паутиной и покрыто пылью...

Шаг в вечность

Рабочая неделя подошла к концу. Пятница. Вечерело. Сумерки, в которые был окутан сегодня весь город, начали сгущаться. И хотя уже стоял месяц май и весна вступила в свои незамысловатые права, весь день небо закрывала серая пелена и клочьями проносились низкие темно-серые облака. Непрерывная морось нет-нет да и переходила в мелкий нудный дождь, косыми линиями пересекая вид из окна и, какказалось Леониду Семеновичу, всю прожитую жизнь.

Он был еще молодым человеком лет двадцати восьми-тридцати, высокий, с узкими плечами, худощавый, чуть горбящийся и, немного косолапя при ходьбе, выглядел несколько неуклюжим, а из-за висевшей на нем одежды сразу угадывался холостой неухоженный мужчина. В тоже время он был не лишен и некоторой привлекательности: нос с горбинкой, вздернутые к переносице брови и грустные почти женские глаза, красивые руки – руки пианиста с длинными тонкими пальцами, которые двигались очень изящно и чувственно.

Работал он в одном единственном НИИ провинциального города математиком в отделе моделирования. Отец Леонида, Семен Александрович Корчевников, был довольно известный ученый-математик. Очевидно, тяга к этой науке пе-

редалась сыну от отца. В коллективе Леонида считали человеком замкнутым, скучным и чудаковатым, но прекрасным специалистом, хотя и мог он упереться в споре с начальством, отстаивая до абсурдности упрямо какую-либо совершенно несуразную точку зрения, хотя и сам понимал свою неправоту. Сотрудники относили это к одному из его чудачеств. После таких случаев он несколько дней переживал, прекрасно понимая, почему так произошло.

Жил он в однокомнатной квартире недалеко от окраины города. Из окна своей комнаты мог смотреть на лес, находящийся за чертой города. Квартира досталась ему по наследству от родного дяди.

Леонид не любил выходные дни, а точнее боялся их, так как ему приходилось оставаться наедине с голосом или голосами, если они возникали в голове именно в эти дни. На работе он мог сделать попытку отвлечься, начав разговор с кем-нибудь из сотрудников. Если в данный момент все, кто находился в отделе, были заняты, то он выходил в курилку: уж там всегда кто-то был, и запросто можно было присоединиться к любой из разговаривающих компаний.

Голос, который слышал Леонид, собственно, был один и точно такой же, как у него самого, но иногда он разделялся на несколько голосов, и все они также были одинаковыми и звучали как его собственный, хотя говорить могли о самом разном, иногда даже споря между собой и стараясь перекри-

чать друг друга, будто сам молодой человек отсутствует или не слышит, или его это не касается, а потому его мнение в учет не берется. Леонид в такие моменты путался, его это мысли или нет, и либо пытался отличить свои от навязанных ему, либо безучастно сидел и слушал то, что говорили. Собственно, мысли были, конечно же, его, поскольку появлялись именно в его голове, но какие из них были неуправляемы и выражали его другую сущность, а какие составляли его истинное «я», он часто отличить не мог и нередко подчинялся всем им как своим собственным. Его «я» растворялось в этой неопределенности, и он впадал в состояние пропастрии. Впрочем, такова особенность его болезни, что все, о чем бы он ни начинал рассуждать по этому поводу, приводило к полному хаосу и абсурду.

Сидя у себя дома за письменным столом напротив окна и склонив голову над стаканом водки, он, грустно не поднимая головы, переводил взгляд то на окно, то на наполненный стакан. Сильно болела голова, свои мысли путались со своими же, но... чужими.

Последние времена Леонид все чаще чувствовал себя плохо из-за неразберихи в голове, а последней весной почти постоянно находился в депрессии, что было обычным при его болезни, и он это знал. Болезнь давала о себе знать не беспрерывно, а случалась приступами, и его до крайности изматывало постоянное напряжение, в котором он находился, ожидая очередного ее проявления. Приступы происходили все

чаще. Если приступ случался на работе или в месте, где присутствовали другие люди, то он пытался скрыть свое состояние от окружающих и выглядеть таким же, как все. Это давалось ему очень тяжело. Он много читал о болезни, знал ее почти досконально, старался как мог противостоять ей, принимая лекарства и придерживаясь определенного образа жизни. Однако сам понимал, что болезнь прогрессирует. Леонид не принимал психотропные средства, а только успокаивающие и снотворные лекарства: боялся превратиться, как говорят, в «овошь» – человека, которого и человеком назвать можно лишь условно.

Если приступ заканчивался, то он, добравшись до дома, валился на кровать и спал до следующего утра. Если наступали выходные дни и на работу не надо было вставать, то мог отлеживаться с вечера пятницы до утра понедельника, никак не реагируя ни на звонки в дверь, ни на звонки по телефону. Он никогда не был уверен, звонят ли на самом деле, или это галлюцинации. Надо сказать, что, помимо входного замка в двери квартиры, он вставил еще и замок в дверь, ведущую в его комнату, поскольку часто слышал шаги на кухне и в коридоре и звук открывающейся или закрывающейся входной двери. Своим «я» он понимал, что это все кажущееся, но каждый раз вдруг появлялась мысль: «А закрыл ли я входную дверь?» Замок на двери в комнату иногда помогал ему сопротивляться этому бреду и не подчиняться мыслям своего другого я, сказав: «Да, закрыл, отстань!»

Он встал из-за стола, прошел на кухню и заглянул в ванную комнату. Долго не мог сообразить, зачем он сюда пришел. Наконец вспомнил: проверил, выключен ли газ и закрыты ли краны холодной и горячей воды, чертыхнулся и тут же подумал: «Зачем я это делаю, ведь я минут десять как все проверял? Зачем я подчиняюсь глупым и бессмысленным указанием того самого голоса, который часто слышу иногда в своей голове, а иногда откуда-то рядом слева за своей спиной?» Затем он подошел к окну на кухне и убедился, что отсюда видна все та же серая хмаря. Если бы сейчас стояла осень, то он бы чувствовал себя намного лучше: даже ненастная погода не могла оторвать его от любования разноцветьем листьев деревьев и кустов на фоне еще зеленой травы. Он любил осень, да и голоса в голове в осеннюю пору слышались очень редко. Осень давала возможность отдохнуть его нервам после прожитого года. Осенью он не соглашался уйти в отпуск: в эту пору он и так чувствовал себя в отпуске. Само собой, что сами отпуска он ненавидел еще сильнее выходных дней. Леонид мечтал об одиночестве, но об одиночестве истинном чувствуя только свое «я».

Вернувшись в свою комнату и едва присев снова за стол, он тут же встал и подошел к окну. Посмотрел на размытые силуэты прохожих и машин, мокрый и блестящий асфальт, затем сосредоточил свой взгляд на ручках, открывающих створки окна. Постояв минут пять, неожиданно для себя повернул ручки и открыл окно. Наклонившись, он уви-

дел асфальтовый тротуар, дорогу, ведущую к подъездам дома, и еще дальше – газон и детскую площадку.

«Не допрыгнуть до газона с пятого этажа, далеко. Наверняка, упаду на асфальт и разобьюсь. Да и зачем мне газон: если не убьюсь насмерть, то останусь вдобавок еще и калекой на всю оставшуюся жизнь! Оставшуюся?.. Да разве это жизнь?» Слезы вдруг накатили на глаза, и он вскрикнул:

– За что, Господи? За что?

«Нет, уж лучше падать на асфальт, – и тут же мелькнула мысль: – О чём это я? О смерти? Чьи это мысли: мои или нет? Нет, у меня еще вся жизнь впереди, я еще молод, я вылечусь!» И тут же откуда-то услышал тихий смешок. Он закрыл окно, подумав, что надо бы их оба, что есть в квартире, забить гвоздями. Затем отодвинул от окна письменный стол, а заодно подвинул подальше вглубь комнаты и свою кровать, замер посередине, размышая: «Вот и сегодня: почему яшел по дороге с работы домой в магазин за водкой? Взял же документы на работе, чтобы было чем заняться в выходные! Ведь говорил же мне врач, что у меня не должно быть свободного времени, что я должен быть всегда чем-то занят: как только я расслаблюсь, то теряю контроль над собой и начинаю подчиняться тем самым голосам. Я ведь непьющий, да и пить алкоголь мне категорически нельзя!» Снова открыл окно, убедился, что внизу никого нет, вылил на улицу всю водку, и сразу же кто-то вздохнул с сожалением. Еще некоторое время Леонид вновь заворожено смотрел на асфальто-

вый тротуар внизу.

Голоса утихли, и в этой тишине он прилег на кровать и задремал.

Леонид помнил только отца. Маму он совсем не помнил, и женскую ласку, и заботу тоже не помнил: когда мамы не стало, ему было пять лет. Отец предпочитал не говорить о ней. «Болела, умерла», – вот и все его слова. Ни одной фотографии матери в квартире почему-то не было. Бабушки, тети, а порой и совсем, казалось бы, чужие женщины заменяли ему мать, и он переходил на воспитание из рук в руки. В двенадцать лет он стал жить с отцом, но наступившие вскоре реформы лишили его работы и сделали совершенно невостребованным. Такое в те времена было обычным: наступало время менеджеров, сборочных производств и массового строительства коммерческого жилья. Но жизнь не кончалась, и отец, заложив их квартиру, попытался заняться предпринимательством. Бизнес у него не получился: он быстро нажил огромные долги. Отец сильно переживал, что на них с сыном надвигается нищета, и в конце концов у него случился инсульт, его забрали в больницу. Вскоре, прия в сознание на мгновение в самом конце, он умер. Квартиру пришлось отдать за долги. Вот тогда-то дядя и забрал мальчика к себе. Пока дядя был жив, он полностью заменил тому отца. Дяди не стало вскоре после окончания юношей института. Но даже и после смерти дяди Леонид считал, что ближе человека у

него в жизни не было. Кстати, именно дядя, Василий Александрович, – единственный из родственников кто рассказал, что же случилось с его мамой:

– Она так любила твоего отца, что впала в полную невменяемость после того, как узнала о его изменах. Тебе было тогда лет пять, насколько я помню. Ее забрали в психиатрическую больницу, и больше она оттуда не вышла. Может, и сейчас она еще жива и находится в одной из них – это мне неизвестно. Твой отец так стыдился прошедшего, что скрывал истинное положение вещей от друзей, сослуживцев и знакомых, говоря всем, что она скоропостижно скончалась от сердечного приступа. Разумеется, ближайшие родственники знали правду и перестали поддерживать с ним отношения. Только мы с ним остались дружны. Я всегда считал его порядочным человеком и хорошим семьянином. То, что кто-то рассказал Ольге, так звали твою маму, о якобы изменах, я считаю грязными сплетнями, не имеющим под собой никакой почвы. Но мама твоя была очень впечатлительным человеком и постоянно ревновала твоего отца.

– Будучи неверующим, он, тем не менее, часто потом заходил в церковь и подолгу стоял у иконы Богородицы. Иногда мы вместе с ним ходили в церковь, и я видел, что в душе он винит во всем себя, и слезы текли по его щекам. Когда мы были в церкви вместе, то в конце концов я насилием уводил его оттуда, а когда он был там один, то я и представить себе не могу, сколько же времени он стоял и плакал перед

иконой. Как я уже говорил, твоя мать впала в полную невменяемость и его, когда он навещал ее в больнице, она не узнавала. Перед родственниками он не пытался оправдываться: «Считают меня виноватым – это их право», – говорил он. Но обида на них затаилась в его душе на всю оставшуюся жизнь. Правду сказать, на его похороны пришла вся родня. Я единственный, кто навещал его в больнице, и после того, как его не стало, разговаривал с медсестрой, при которой он ушел. С ее слов, перед концом он на мгновение очнулся, взгляд его прояснился, и последние слова, которые он произнес почти шепотом, были: «Оленька, Леонид, любимые, простите!» То, что в вашем доме нет ни одной ее фотографии, я могу объяснить тебе: ему тяжело было видеть ее глаза. Он сильно любил жену и не смог убедить ее, что не было никаких измен, – объяснил Василий Александрович. – В чем постоянно винил себя.

Из детских снов Леониду часто повторялся один и тот же: бегут они втроем всей семьей среди цветов по бесконечному лугу навстречу солнцу. Мальчик крепко держится одной рукой за руку мамы, другой – за сильную руку папы. Они все громко смеются. И вдруг он поворачивает голову к маме, а там никого нет. На этом сон обрывался, и мальчик начинал плакать. Сейчас Леонид уже не плакал, но тоска накатывала на него и слезы все-таки наворачивались на глаза: он хотел вспомнить, как выглядит мама, и не мог.

Как-то в один из выходных дней Леонид решил сходить

в церковь. Все время, пока он шел к своей цели, в голове крутилась одна и та же мысль: «Ну зачем я иду туда? Я же неверующий». Но стоило ему войти в храм, как эта мысль исчезла, и на душе стало тихо и спокойно. Он тут же купил в церковной лавке икону святого Целителя Пантелеймона в надежде, что мама жива, и свечку. Свечку поставил около иконы и, поглядев на прихожан, как правильно креститься, перекрестился.

Леонид не всегда был замкнутым и нелюдимым. Весельчак, оптимист еще в студенческие годы и первые годы после учебы, уже работая в НИИ, он был чуть ли не душой в любой кампании, но с некоторых пор начал сильно меняться, становясь мнительным, неразговорчивым, а порой и говорил такую несуразную чушь, что краснеть за него и отводить взгляд приходилось тем, кто слушал его.

Случилось это лет пять-шесть назад. Леонид уже жил один.

Зарплату тогда выдали в пятницу, хотя раньше всегда, если выдача денег приходилась на последний день рабочей недели, то ее переносили на понедельник. Он задержался на работе. Когда вышел на улицу, уже темнело и по дороге к автобусу ему встречались только редкие прохожие: все уже давно находились дома, строя планы на выходные. У Леонида не было таких проблем, так как накануне они с другом-со-

служивцем решили проверить одну идею и договорились на завтра пораньше встретиться на работе; пропуска в институт на выходные дни они оформили заранее.

Он вышел из автобуса на своей остановке и вспомнил, что дома нечего есть. Оглянувшись по сторонам, Леонид обратил внимание на еще открытый небольшой застекленный магазинчик и направился к нему. Продавщица продуктового отдела тут же выложила на прилавок продукты, которые он перечислил. Опустив руку в левый внутренний карман пиджака, он нашупал пачку денег, тугу перемотанную канцелярской резинкой, из которой если вытаскивать купюры там же в кармане, то они, наверняка, порвутся. Надорванные деньги продавщица не примет. «И почему наш кассир всегда перекручивает резинку в три, а то и в четыре раза?» – подумал молодой человек. Выход был только один: достать всю пачку. Он обернулся вокруг – никого, достал всю пачку, расплатился и убрал деньги обратно в карман.

До своего дома ему надо было пройти под мостом и через сквер. Проходя через пустынnyй островок зелени, единственный в их районе среди сплошного асфальтного покрытия, Леонид вдруг почувствовал какое-то движение сзади. Он только начал поворачивать голову, чтобы посмотреть назад и... очнулся, видя над собой белый потолок, а вокруг белые стены. «Больница!» – мелькнуло в голове у него. Попытался встать, но тут же почувствовал сильную головную боль и без сил снова опустил голову на подушку. Тут же над ним

склонились мужчина и женщина в белых халатах. «Врач и медсестра», – понял Леонид. Как выяснилось позже, он попал в отделение нейротравматологии городской больницы.

– Наконец-то вы очнулись. У вас, молодой человек, сотрясение мозга, ушиб пришелся на левую половину лба. На сколько серьезная у вас травма, мы пока не знаем, надо пройти обследования – это займет где-то неделю, – и, улыбнувшись, врач добавил: – Жить будете!

– А какой сегодня день? – спросил Леонид.

– Суббота, – ответила медсестра. – Вас обнаружил полицейский патруль вчера поздно ночью, он и вызвал скорую помощь.

– Ну да, дознаватель еще придет к вам, вот с ним и побеседуете, а сейчас скажите, у ваших родственников ни у кого не было психических отклонений? – спросил мужчина в белом халате.

– Нет, – ответил Леонид, вспомнив маму и подумав: «Почему он так спросил? Может, я вел себя неадекватно, когда находился без сознания?»

– Вот и хорошо, – произнес врач. – А пока отдыхайте, предварительное обследование показало, что хотя сотрясение и было достаточно сильным, но патологий у вас пока не выявлено. Завтра начнем проводить остальные обследования, отдыхайте.

«Значит, не начни я оборачиваться влево, когда мне послышались какие-то звуки за моей спиной, удар пришелся

бы в висок и мог быть смертельным для меня. И это из-за той небольшой зарплаты, что я получаю: пачка денег хотя и была внушительной, но только из-за того, что состояла из мелких купюр. Но где же он или они могли увидеть у меня деньги? Ведь явно выслеживали именно меня», – думал Леонид.

И вдруг вспомнил, что стена магазина за спиной продавщицы была из прозрачного стекла. Вспомнил он также, что, проходя под мостом, краем глаза заметил сзади двух мужчин, идущих явно целенаправленно быстрым шагом в ту же сторону, что и он сам.

«Вот люди – готовы убить за то, что есть у человека при себе, пусть это даже копейки! Жизнь человеческая ничего не стоит!» И его всего передернуло с ног до головы то ли от страха, то ли от невозможности что-либо изменить в этом мире и жить дальше, просто примирившись с тем, что такое существует и впредь быть предсматрительней.

«Ну ладно, проехали, а выйти мне отсюда надо не позже завтрашнего дня. Поскольку завтра день нерабочий, а с понедельника уже нужен будет больничный лист, и в институте узнают, что я попал в нейротравматологию, а этого-то я и не хочу. Да и сколько будет проходить обследование, неизвестно, а уже и не тошнит почти, – думал Леонид. – А боль в голове? Пройдет, отлежусь за воскресенье».

Но стоило ему сказать об этом лечащему врачу, как тот накричал на него и категорически отказался отпустить из больницы. Леонид попытался взять свои вещи из больнич-

ной камеры хранения, но без разрешения лечащего врача их отказались выдавать. Тогда он, спросив дежурную по этажу о разрешении воспользоваться телефоном, позвонил своему другу, с которым должен был сегодня встретиться на работе, объяснил ему кратко ситуацию, и попросил принести в приемные часы какую-нибудь одежду. Вечером Леонид был уже дома – запасной ключ от квартиры лежал все там же, в ящике, где на лестничной клетке находятся электросчетчики. Через два дня он забрал свои вещи из больницы, денег, конечно, не было, но все остальное уцелело после нападения бандитов.

Голова перестала болеть через несколько дней, но вопрос врача о психических заболеваниях у родственников еще долго не выходил из его головы.

Как-то он решил попытаться разыскать маму. Это оказалось нетрудно: она была жива и находилась на постоянном лечении в одной из психиатрических больниц за городом. Получить разрешение на свидание оказалось просто: надо было только приехать в дни и часы приема и объяснить лечащему врачу отделения, где лежала мама, причину посещения. В данном случае причина была веской: сын. Леонид показал свое свидетельство о рождении.

Больница находилась в нескольких сотнях метрах от остановки электрички, и это расстояние молодой человек прошел очень быстро, не замечая ничего вокруг себя.

В комнате свиданий ждать пришлось долго. Судя по то-

му, что он видел в коридорах больницы, все ходили неопрятные, кто в чем одет. О больничных халатах или пижамах и говорить не приходится, в глазах лечащихся полное непонимание, где они находятся и что с ними делают (к тому же все женщины были пострижены наголо). Молодой человек понял, что перед свиданием с посетителями пациентку придется долго приводить во что-то хотя бы похожее на человека. «Ну, таблетками их здесь пичкают до упора, ведь это же не люди, а овощи какие-то», – зло подумал Леонид. Когда привели маму, они, конечно же, не узнали друг друга. Впрочем, с тех пор как они расстались, прошло уже более двадцати лет. «А, может, хоть что-то осталось от тех пяти лет?» – с надеждой подумал Леонид. Действительно, минут через пять, глядя на это одутловатое от лекарств лицо и остатки красоты, явно угадываемые на лице женщины, молодой человек ощутил, как тепло волной прошло в голове и груди, и он, скорее, не узнал, а почувствовал, что эта женщина – его мама.

– Мама! Это я, твой сын, Леня! Ну узнай же меня, ради Бога! – с мольбой выговорил он, глядя на женщину, которая еще пять минут назад казалась ему чужой.

Женщина бессмысленно оглядывала комнату, в которую ее привели, казалось, думала, где она и зачем. Неожиданно взгляд ее просветлел, очевидно, болезнь чуть отступила на мгновение, и мама, глядя куда-то в сторону, сказала громко и ясно:

— Леня, сынок! Ты не забыл меня? А как папа? Он не болеет?

И тут же слезы обильно потекли по щекам обоих. Он еще хотел что-то сказать, но глаза мамы вдруг стали снова отрешенные, и он услышал, как она начала говорить шепотом:

— Ты слышишь эти голоса? Нам нельзя быть вместе долго! Уходи скорей, а то они и тебя здесь закроют навсегда: они все могут, эти голоса.

Последние слова она уже выкрикивала, явно находясь в панике от страха. Взгляд ее оставался бессмысленным.

В комнату вбежали два медбрата, взяли ее под мышки и, безвольную, с шаркающей походкой, увезли. В дверях один из них сказал:

— Все. Свидание окончено. Зайдите, пожалуйста, к лечащему врачу, она хочет с вами поговорить. Зовут ее Зоя Петровна.

Кабинет лечащего врача находился на этом же этаже, и Леонид легко нашел его. На двери была прикреплена табличка с надписью: «Симонова Зоя Петровна, психиатр».

Молодой человек постучал в дверь и, не услышав ответа, осторожно приоткрыл дверь кабинета и тихо сказал:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — ответила врач, сидевшая за маленьким столиком и что-то быстро писавшая в журнале. — Проходите, присаживайтесь, Леонид... (она быстро заглянула в какую-то бумагу) Семенович, я сейчас освобожусь.

— Я подожду, не спешите, — ответил он и присел к столу.
— Вот и все, я закончила, — сказала врач и устало вздохнула. — Даже подумать не могла, учась в институте, что бумажная работа будет отнимать столько времени, а мне ведь надо пациентами заниматься. Спрашивайте.

Она подняла глаза, всем своим видом показывая заинтересованность в разговоре и свою готовность выслушать посетителя и ответить на его вопросы.

— Я хотел бы узнать о состоянии мамы, Ольги Корчевниковой.

— Видите ли, молодой человек, бывший лечащий врач когда-то вашему отцу объяснял, что, кроме как поддерживать в вашей маме жизненные функции и остатки ее «я», сделать ничего невозможного. Организм еще борется и сопротивляется полному распаду личности: моменты осознания себя и окружающих редки и кратковременны. С тех пор ничего не изменилось.

— Скажите, пожалуйста, а может ли эта болезнь быть врожденной? — спросил Леонид.

Зоя Петровна с удивлением посмотрела на Леонида и ответила:

— Да. Очень часто эта болезнь имеет наследственные корни, но для ее проявления нужен какой-то толчок, стресс, если хотите. Могли бы вы мне рассказать вашу семейную историю? Отец ваш отказался в свое время говорить на эту тему.

Леонид согласился и рассказал все, что знал сам, только

предупредил, что самому ему было всего пять лет, когда все это случилось, и рассказал он со слов дяди, заменившего ему отца, когда того не стало.

Зоя Петровна внимательно выслушала и спросила:

– Знаете ли вы, кто были родители вашей мамы?

– Ее мать работала учителем младших классов, а отец был, точнее, пытался быть художником.

– А известно ли вам о каких-либо психических отклонениях у ваших близких и дальних родственников?

– Насчет родственников ничего сказать не могу, а вот у мамы, со слов дяди, истерики случались нередко, – ответил молодой человек.

– Понятно, – сказала Зоя Петровна. – А у вас самих были когда-нибудь серьезные травмы, например сотрясение мозга, операции?

– Только сотрясение мозга, но не тяжелое, – ответил Леонид. – Поставили диагноз в городской больнице, что патологий нет, и в тот же день я ушел оттуда, не пройдя полного обследования. Дня через три-четыре голова болеть перестала.

– И когда это было? – спросила врач.

– Лет пять-шесть назад.

– И как вы себя сейчас чувствуете? – спросила Зоя Петровна.

– Нормально, – ответил Леонид и, не давая времени врачу задать очередной вопрос, спросил сам:

– А как правильно называется эта болезнь?

– Не желаете продолжать разговор о себе – это ваше право, – сказала молодой врач. – А если хотите знать, как называется, то по-простому без мудреных медицинских терминов – шизофрения, скажем так, в тяжелой форме.

Леонид задумался, вспоминая тех, кого видел в коридорах больницы, пока шел в комнату для свиданий: «Можно ли их назвать людьми, ведь сюда попадают на постоянное лечение фактически безнадежные больные?»

– И все-таки это люди, – сказала Зоя Петровна, угадав, о чем думал Леонид. – И мы будем делать все, чтобы сдержать развитие болезни.

– Ей что-нибудь надо приносить, может быть, чего-то не хватает?

– Сами приходите почаше – это может положительно сказаться на пробуждении ее сознания, – ответила врач.

Зоя Петровна встала из-за стола, показывая тем самым, что время, отведенное на разговор с посетителем, закончилось:

– Извините, Леонид Семенович, но меня ждут еще посетители.

Он встал, попрощался и направился к двери кабинета.

Стоя уже в дверях, он спросил:

– Могу ли я забрать маму из больницы домой?

– Оформив все положенные документы и взяв всю ответственность на себя – можете: на сегодняшний день состояние ее стабильно, и она не угрожает ни собственной жизни,

ни безопасности окружающих, – услышал он ответ.

– А болезнь может прогрессировать?

– В том-то и дело, что может. А это ведет к полной потере личности, то есть своего я. Иногда больные, чувствуя, что болезнь прогрессирует, и понимая в момент, когда приступ отпускает, к чему это ведет, осознавая свое будущее, совершают самоубийство. Вот почему оставлять их одних ни в коем случае нельзя.

– Я понял: нужна сиделка?

– И сиделка, которая бы строго наблюдала за выполнением всех рекомендаций врачей.

– Да. Или, Леонид, тебе надо увольняться с работы, если финансы позволяют. Так что подумай очень серьезно, прежде чем взять маму к себе, – ответила лечащий врач. – Я бы не советовала. Это очень тяжело.

Она так легко перешла на «ты» будто они знакомы уже не первый год. И вдруг молодой человек увидел перед собой не врача, ежедневно соприкасающегося со столь страшными болезнями, а просто молодую красивую девушку, вчерашнюю студентку, пухленькую, с открытым теплым взглядом, выглядевшую такой домашней-домашней, немного младше его и смотревшую на него как-то по-родному, с пониманием и сочувствием.

– Конечно, я еще много буду думать над вашими словами.

Возникла неловкая пауза: вроде, все уже сказано, и оба стояли, молча глядя друг на друга. Наконец Леонид еще раз

попрощался:

— До свидания, Зоя, надеюсь, теперь мы будем встречаться часто.

— График моих дежурств возьми в регистратуре, — подсказала Зоя.

До станции электрички Леонид шел с противоречивыми чувствами: с чувством огромной потери в жизни — мама никогда не вылечится, и в тоже время он чувствовал, что встреча с Зоей может совершенно изменить его жизнь. Неожиданно для себя он стал замечать ту красоту, среди которой находился в данный момент. Он шел между лип прекрасной аллеи. Деревья, наверняка, были посажены еще в царское время, как и весь парк вокруг. Стояла полная тишина. Только начавшиеся появляться маленькие листочки на деревьях аллеи тихо, еле слышно шелестели, переговариваясь с вольно гуляющим по всему свету ветром и узнавая о событиях, происходящих в мире. Редкие прохожие, идущие навстречу ему или обгоняющие его, тихо приветствовали молодого человека, желая Леониду и всем его родственникам доброго здоровья. Он вспомнил здание больницы, устроенной в отремонтированном дворянском доме. Вся усадьба умиротворяла своим видом и вселяла душевное спокойствие. Трудно было найти место лучше для такой больницы.

И все-таки в электричке, направляющейся в город, его не оставляла мысль о том, как же несправедлива жизнь: одним она дает все, у других все отнимает, даже то малое, что они

имеют – свое собственное я.

Однако вспомнив Зою, он улыбнулся, и настроение его сразу же улучшилось.

Шло время. Леонид регулярно навещал маму, но к себе ее так и не забрал. При его зарплате нанять профессиональную сиделку было нереально. Каждый раз, сидя в электричке, он с нетерпением ждал встречи с Зоей. Впервые в жизни он влюбился, и трудно было сказать, что больше тянуло его приехать в больницу: чувства к маме или любовь к Зое. Все-таки мама – это его прошлое, которое он и не помнил, и это скорее был зов родной крови. Зоя – это было его настоящее, а может быть, и будущее: ведь она прекрасно все понимала и не отвергала его ухаживаний. Как-то в очередное свое посещение мамы он зашел в кабинет лечащего врача и сходу сказал:

– Зоя Петровна! Пойдемте вечером куда-нибудь вдвоем, например, в кино, ресторан? – сказал Леонид и добавил: – Или просто погуляем по городу? Надеюсь, вы не замужем?

– Во-первых, по-моему, мы перешли на ты, во-вторых, я не замужем, – улыбаясь, ответила Зоя со смущенным и удивленным видом. – И в-третьих, я согласна, но только погулять по городу: в рестораны не хожу и кинотеатры не люблю, лучше живое общение, расскажете о себе, а я о себе, да и о психиатрии поговорим. Эта тема, думаю, тебе интересна.

– Да, очень интересно, почему ты выбрала именно эту профессию! – согласился молодой человек и подошел к Зое

вплотную, собираясь поцеловать ее.

— Какой ты прыткий! Всему свое время, — сказала девушка, сделала шаг назад и, вопросительно посмотрев на Леонида, добавила: — В эту субботу я не дежурю в больнице.

— Я тоже свободен.

Они договорились о месте встречи; так начались их личные отношения.

Прошло уже больше пяти лет после того случая с нападением на Леонида в сквере. Он уже начал забывать о нем. Жизнь продолжалась и, как он считал, продолжалась прекрасно. Молодой человек был счастлив, что повстречался с Зоей, хотя за все время ему удалось поцеловать ее только один раз. Зоя была из интеллигентной семьи, прекрасно образована, очень общительна: она могла поддержать разговор на любую тему, но воспитана была в строгих правилах.

Как-то Леонид, гуляя по улице без какой-либо цели, спустился в подземный переход и, смотря себе под ноги, стал пинать перед собой кем-то брошенную скомканную пачку сигарет. Он, как мальчишка, так сосредоточился на этом занятии, что не обращал внимания на окружающих. Неожиданно раздался визг маленького ребенка, он машинально повернул голову направо и тут же почувствовал удар в левый висок чем-то твердым. Посмотрев перед собой, он увидел передернутое злобной гримасой лицо уже давно небритого

немолодого мужика, потирающего свой лоб.

– Вперед перед собой смотреть надо! – выкрикнул возмущенно тот, и пошел дальше.

Не успев извиниться перед мужчиной, Леонид тут же вспомнил то нападение на него, голова вдруг сильно заболела и в глазах все вокруг начало расплываться, и вскоре пелена полностью затмила его взор. Он стоял посреди перехода, беспомощный, ничего не видя перед собой. Неожиданно он вспомнил, что видел мельком это лицо, перекошенное гримасой, тогда, когда на него напали в сквере, поворачивая голову влево перед ударом по голове. Сколько он так стоял, он не знал, но когда в глазах немного прояснилось, и он обернулся назад, то смутно различил только удаляющуюся ста-рушку, опирающуюся на палочку. Попробовал сделать шаг и тут же, чтобы не упасть, схватился за стенку перехода. Все вокруг снова стало расплывчатым, и он повернулся назад, домой, держась одной рукой все за ту же стенку подземного перехода, а другой водя перед собой, как слепой, чтобы не наткнуться на что-нибудь или на кого-нибудь. Дойдя до конца перехода, он беспомощно остановился, прислонился плечом к стенке, не зная, что ему теперь делать. Леонид мучительно старался вспомнить, сколько поворотов между домами и в какую сторону их надо делать, чтобы дойти до дома. Но голова болела до того сильно, что он не мог даже сообразить по какой лестнице подняться из перехода на улицу: левой или правой. Он чуть различал смутные очертания проходивших

мимо людей, слышал незнакомые голоса и не понимал, о чем они говорят. Проходившие мимо двое полицейских обратили на него внимание, подошли к нему и один попросил Леонида «дыхнуть» на него.

– Нет, вроде непьяный, – сказал он напарнику.

– Сердце? – спросил второй полицейский. – Так у меня и валидол, и даже нитроглицерин есть. А то можем машину скорой помощи вызвать. С вами такое в первый раз случилось?

– Нет, – с трудом выговорил Леонид. – Ничего не надо, спасибо вам.

И чтобы отвязаться от патруля соврал:

– У меня так бывает: закружится голова, примешь таблетки, – и он похлопал себя по нагрудному карману пиджака. – Постоишь немного, и все проходит, надо только подождать и отдохнуться. Если нетрудно, выведите меня наверх из перехода и подскажите, в какой стороне (он назвал адрес), и на том спасибо.

Полицейские помогли ему подняться по лестнице и рассказали, как дойти до дома, который он указал, а скорую по рации все-таки вызвали. Леонид слышал, как они переговаривались между собой и решали, что предпринять: «Да ты посмотри на него, совсем плох, нельзя его так вот здесь оставить. Закуривай, будем ждать скорую». Молодой человек категорически не хотел в больницу: впрочем, как и почти все молодые люди, и надеялся, что вскоре действительно голова

перестанет кружиться и он станет все четко видеть, но веры в это у него было мало: уж сильно сильно прихватило.

И вдруг он услышал знакомый и такой желанный голос Зои:

– Что случилось? Почему его задержали?

– Мы его не задерживали, – оправдывался полицейский тот, что повыше ростом. – Он идти не может, вот мы и вызвали «скорую», ждем.

Зоя посмотрела на Леонида, тот отрицательно помотал головой.

– Мой дом в трех минутах ходьбы отсюда, рядом с его домом. Я доведу его, спасибо вам за помощь, – сказала Зоя.

– А вы кто ему будете?

– Невеста.

Полицейские недоверчиво посмотрели на девушку и принялись звонить, отменять вызов скорой помощи.

С большим трудом Леонид и Зоя добрались до его дома.

Он сразу же повалился на кровать.

Она присела на край кровати, положила ему мокре холодное полотенце на лоб и стала делать массаж головы.

Леонид начал медленно приходить в себя.

– Спасибо за помощь и за «невесту», – выговорил он.

Видя, что он уже может разговаривать, Зоя сказала:

– Вот и побывала у тебя в квартире. Ладно, потом дифирамбы петь будешь, а теперь рассказывай, что случилось.

Только теперь это была не та нежная девушка, которой он

назначал свидания и даже один раз поцеловался, а строгий врач-психиатр Зоя Петровна.

Леонид рассказал, что произошло, и что он узнал мужика, который ударил его по голове тогда в сквере, при ограблении. Вера надолго задумалась и затем серьезным голосом произнесла:

– Надо серьезно обследоваться. Я могу устроить это в нашей больнице.

– Во-первых, у меня завтра доклад на ученом совете по теме, над которой работал не я один, а коллектив сотрудников, а я был руководителем этой работы, и занимались мы ею два года; во-вторых, чтобы ты поняла важность мероприятия, эта тема и составляет суть моей диссертации, и если все удачно, то я получу должность старшего научного сотрудника; в-третьих, в научном мире, как и в любом творческом мире, всегда много оппонентов, а проще завистников, недоброжелателей, а говоря еще проще – врагов. И последнее: если ты забыла, то напоминаю, что я работаю в научной организации, и любой даже намек на психушку приведет к моему личному краху, я уж не говорю о коллективе, который со мной работал, – медленно и абсолютно четко выговорил Леонид. – Да и голова уже почти не болит.

– Ты будешь обследоваться амбулаторно: приходить и после обследования уходить домой, – предложила Зоя.

– Нет! Это большой риск: можно случайно встретить знакомого, сослуживца, их родственников, да мало ли что мо-

жет произойти.

— Ладно, пока тебя оставляю в покое, но сама иногда буду приходить к тебе, чтобы узнать, как ты себя чувствуешь и принимаешь ли лекарства. И имей в виду, что муж-шизофреник мне не нужен, — уступила, улыбаясь, Зоя. — Второй ключ от квартиры я оставлю себе. Где у вас аптека?

Она вернулась через полчаса, рассказала, как принимать лекарства и в каких случаях срочно звонить ей и убежала на работу. Почему-то особенно болезненно воспринял Леонид слова о шизофренике. «Правильно, не соглашайся лечь в больницу», — прозвучало в голове. Молодой человек обернулся по сторонам и, никого не увидев, решил, что померещилось.

На следующий день доклад проходил гладко, и аудитория уже начала зевать, всем казалось, что положительное голосование уже гарантировано. Только у Леонида с середины доклада начало появляться чувство безразличия к тому, что он говорит, и наконец тема стала ему полностью безразлична, но не по сути, а потому что докладывает он ее, вроде как, только открывая рот, и произносит сами звуки, а говорит за него некто. Молодой ученый замолчал, прислушался: нет, все тихо. И вдруг начал опровергать все, что он говорил до этого момента, затем вновь замолчал. Промелькнула мысль — чья? — «Не о том ты говоришь, вспомни Зою», — и Леонид Семенович начал говорить о звездах и о любви, а далее понес такую несуразицу, что аудитория слушала, замерев с широко

раскрытыми глазами. Затем неожиданно он стал читать стихи о любви известных поэтов. В зале для докладов стало твориться что-то невообразимое: крик, звук падающих стульев, кто-то крикнул: «пожар» и «неотложку надо вызвать»... Это был первый приступ надвигающейся болезни, которая ждала своего проявления с его рождения.

Очнулся Леонид в больничной палате и над ним склоненное лицо Зои:

– Ты пропал на два дня. Пришлось идти в твой НИИ, так что не напрягайся и не старайся рассказывать: я все знаю. Сегодня же добьюсь перевода тебя в нашу больницу. Все, отдохтай.

Его перевели в тот же день. В палате было коек двадцать, и все они были заняты. Народ был тихий и с виду вроде как заторможенный. Леонид вспомнил маму и подумал: «Накачали всех таблетками».

На следующее утро на обходе пришла Зоя. Настоящий строгий врач в белом халате и с тонометром в нагрудном кармане.

– Голова не болит? – спросила она. – Ты сейчас можешь говорить?

Леонид утвердительно кивнул головой:

– Могу.

– Я опросила твоих сотрудников, так что как это выглядело со стороны, я в общих чертах знаю, – сообщила Зоя. – Но хотелось бы услышать от тебя, как ты себя чувствовал на

собрании или как там это у вас называется, о чем думал, делая доклад. И как сам-то считаешь, твои мысли это были? И до какого момента помнишь те события?

– На шизофрению намекаете? – спросил Леонид, переходя на вы, и добавил: – А что? Не надо маму ездить навещать, ведь она здесь же в этой больнице!

– Не горячись, Леня, тебе надо сначала обследования пройти: все-таки несколько лет назад удар по голове был, и ты терял сознание, да и недавние события. А диагноз? Он и от тебя зависит, насколько ты будешь откровенен со мной и все ли будешь мне рассказывать. У тебя же не полный распад личности! Значит, диагноз я могу поставить только с твоей помощью! Ладно, отдохай завтра и начнем.

«А ведь она подсказала мне, как можно избежать диагноза шизофrenия и остаться для окружающих нормальным человеком, сохранить работу в НИИ, а дальше жить как смогу, – подумал Леонид с кривой усмешкой. – Спасибо ей, конечно, но Зою я потерял, теперь она для меня вновь Зоя Петровна – лечащий врач мой и моей мамы, можно сказать, семейный психиатр».

– Пойдем, парень, покурим, разговор есть, – сказал один из лежащих в палате: поживший уже мужчина и, судя по всему, имеющий некоторый опыт в психиатрических делах.

– Слышал я твой разговор с врачихой, – сказал пациент, – Значит, не хочешь психиатрического диагноза?

– Кто же его хочет, – ответил молодой человек.

– О!.. Есть такие и немало. Например, инвалидность, пенсия, льготы, отмазка от армии или уголовного дела... все и не перечислишь. Тебя-то почему диагноз волнует? – спросил мужик.

– Просто хочу, чтобы никто не знал, если вдруг диагноз нехороший поставят, и считали меня нормальным, как и они все.

– А «они все» ты думаешь нормальные? – философски произнес мужик. – Все люди, так или иначе, психически с отклонениями, только в психиатрическую больницу не попадали, вот и диагноза у них нет! Ну да ладно, слушай сюда! Мне-то все равно, больной ты или нет, а к совету прислушайся – вдруг поможет. Здесь всех пациентов глушат психотропными пиллюями, и через неделю-две ты уже будешь до того заторможенный, что сам на все вопросы откровенно врачу ответишь. Отказаться от приема лекарств нельзя: насильно впихнут и водой напоят, чтобы проглотил.

– А что же делать? – наивно спросил Леонид.

– Слушай, что скажу, – уверено сказал мужик, и чувствовалось, что он был в своей стихии. – Лекарства дают в определенные часы: по графику. Глотаешь, выпиваешь стаканчик с водой и показываешь раскрытый рот медсестре. Так вот, как время приема лекарств подходит, ты стараешься среди первых очередь занять, махнешь колеса – сунь их под язык или между губой и зубами и открай рот для осмотра. Все надо делать быстро и как бы с большим желанием, тогда и сестра

ничего не заподозрит и не полезет к тебе в рот пальцами – психология, брат. Всегда срабатывает, если только ты не тяжелый больной, а ты внушаешь доверие. После этого сразу в туалет к урне или к открытому окну и все быстро выплевываешь.

– И что все так делают? – спросил молодой человек.

– Не все. Есть те, которые на самом деле верят, что их вылечат – наивные, а есть те, кто не выплевывает в унитаз, а для каких-то своих целей накапливает пилюли, пряча их куда-нибудь. Учись, парень, пока я жив, – рассмеялся мужик. – И вот еще помни, что дежурные медсестры все докладывают лечащему врачу: и про лекарства, и про то, как ел и спал, как разговариваешь с другими пациентами. В общем, все. Среди медперсонала – заруби себе на носу – у тебя друзей нет и быть не может, как бы ласково с тобой не общались.

– Спасибо за науку!

Мужик выкурил еще одну сигарету и добавил:

– В палате двадцать человек: заснуть, да еще и выспаться невозможно. Есть у тебя кто-нибудь, кто бы принес тебе снотворное? Если спать не будешь, то сразу поймут, что лекарства ты не принимаешь.

– Нет, никого у меня нет.

– Ладно, помогу с этим, но, само собой, не безвозмездно, а еще покажу, какие из таблеток, которыми тебя пичкать будут, снотворные, может, успеешь отложить и сохранить, пока во рту не размокли, но это опасно: заметить могут.

Уже четвертый день Леонид находился в больнице. Как-то в палату зашла медсестра – молодой человек читал книгу – и с интересом спросила:

– Что вы читаете?

– Так, валялась какая-то книжка в коридоре на подоконнике без обложки и первых страниц, – ответил он.

– Интересно?

– Ну, в общем-то, да, – ответил Леонид.

На следующий день на утреннем приеме лекарств замечтал, что ему добавили какую-то синюю таблетку, и сразу все понял: «Значит, сестра доложила лечащему врачу, что я еще способен сосредотачиваться, вот и добавила та снотворную или расслабляющую таблетку. Прав был мужик: никому из медперсонала верить нельзя, как бы они с тобой ни ворковали».

За следующие три дня Леонид прошел все обследования и снова никаких патологий обнаружено не было. Тем не менее, болезнь прогрессировала: если тогда на докладе он услышал только один голос, то теперь их было несколько, и они начинали изматывать его нервную систему. Хотя надо сказать, что с некоторыми из них он беседовал и на очень интересные темы. Его всегда удивляло, что все голоса были одинаковые и были его собственным голосом. Когда заходил спор, то получалось, что спорил он сам с собой. Еще через неделю пришли коллеги навестить его. На все их вопросы о болезни он отвечал:

— Перетрудился, истощение нервной системы. Вот отдохну и снова примусь за работу, у меня и мысли уже новые накопились.

Зашли сотрудники и к лечащему врачу узнать о Леониде, но та только подтвердила истощение нервной системы. Да и что она могла сказать: чувствовала, что он многое не договаривает и выглядит очень издерганным и измученным, но ничего ей не рассказывает.

— Я же вижу, что тебя что-то мучит. Голоса? — спросила она как-то Леонида. — Я же помочь тебе хочу, мы же друзья.

— И друзьями мы когда-то были, и Зоей я вас когда-то называл. А теперь я — пациент, а вы мой лечащий врач Зоя Петровна, — раздраженно ответил молодой человек. — Может и есть что, да вы ничего нового от меня не услышите: голова не болит, отдохнул, патологий нет. Выписывайте!

— Замучаешься ведь один и опять к нам попадешь, я же догадываюсь, что у тебя в голове творится.

— Нет! Лучше покончу с собой, а в психушку больше не пойду, — тихо сказал Леонид. — Только если маму навещать буду. К вам заходить не буду: не нужен я вам такой.

— Завтра выпишу, но навещать тебя иногда разрешишь? Ведь нечужие уже мы с тобой. Так, по крайней мере, я считаю, — сказала Зоя, разведя в стороны руки от бессилия.

Леонид ничего не ответил, но и второй ключ не спросил.

Голоса к этому времени действительно извели Леонида, стараясь каждый на свой лад руководить его действиями. Он

уже с трудом понимал, что делает по своему желанию, а что – по их. Да и понятие «по их» было крайне условно: ведь в голове у Леонида звучал или звучали его собственный голос или голоса.

Перед уходом сотрудников Сергей (тот самый друг Леонида) зашел к нему и, подав ему бумагу, сложенную вдвое, сказал:

– Прочитай и подпиши с открытой датой. Заместитель директора по научной части лично просил, сказал, что ты все сам поймешь. Дату поставят, когда ты выпишешься из больницы.

Леонид прочитал бумагу, ею оказалось его заявление об увольнении по собственному желанию... «Все! Теперь я потерял все: и невесту, и работу».

После выписки из больницы молодой человек анонимно посетил частного платного психиатра. Предварительно договорившись, что нигде ничего зафиксировано не будет, рассказал ему все: и про ограбление, и про подземный переход, и про свой доклад на собрании, и про больницы, где он побывал, и как он там якобы лечился – в общем все.

Павел Валентинович (так звали психиатра) выслушал внимательно, не перебивая и лишь задавая короткие вопросы по существу, и наконец сказал:

– То, что у вас шизофrenия, надеюсь, вам ясно, причем не в легкой форме, а уже запущенная: третьей, а возмож-

но, и четвертой степени, точно сказать не могу, так как надо пройти обследование в психиатрической больнице. Однако то, что болезнь прогрессирует, однозначно: сначала один голос, потом несколько голосов, слуховые галлюцинации (дополнительный замок в дверь комнаты не зря поставили). Находитесь вы в зоне риска, а именно: нехорошая наследственность от мамы, бред (вспомните, что произошло на ученом совете во время вашего доклада) и наконец, окно – мысли о суициде. Я выпишу вам лекарства, в том числе и психотропные, будете принимать их и хотя бы иногда приходить ко мне на консультацию. Если лекарства принимать не будете, то можете ко мне не приходить: ничем помочь не смогу. И еще советы: у вас не должно быть свободного времени – вы всегда должны быть чем-то заняты, и никакого алкоголя.

Итак, Леонид задремал на кровати и вдруг какое-то слово, произнесенное кем-то, заставило его вскочить.

– Что ты сказал вот только что? Да нет, перед этим? Нет, еще раньше. О чём вы все сейчас говорили и спорили? Ну-ну, напрягись, вспоминай! – кричал кому-то, а может, и самому себе Леонид. – О церкви? О Боге? Что-то совсем рядом.

Он напрягся до такой степени, что голова, казалось, сейчас треснет и разлетится на кусочки.

– Есть! – вдруг прохрипел он в изнеможении. – Душа!

И стал с хрипом говорить вслух, чтобы все «они» тоже

слышали:

— Если мое «я» и душа одно и то же, то чем вас голосов больше или чем больше места вы занимаете в моей голове, тем уменьшается мое «я» — моя душа, и в конце концов я как тварь Божья совсем исчезну! — уже не говорил, а кричал он. Нет! Не будет этого! Я сохранию хотя бы частицу своего я!

И он направился к окну. Сразу же раздался страшный визг. Его хватали за руки, за плечи, он упал, но продолжал ползти к свету. Его уже хватали за ноги, пытались оттащить от окна, но с трудом он все-таки продвигался вперед. Наконец он добрался до цели, собрал все оставшиеся силы, открыл окно и вскочил на подоконник. Так, держась за раму и стоя на краю жизни, он безумными глазами смотрел вниз на асфальтовую дорогу. «Один шаг — и я останусь человеком навечно», — подумал он, с трудом стоя на краю окна. Он поднял голову вверх, вроде как прося прощения у кого-то, и вдруг увидел ясное ночное небо, сплошь усыпанное звездами. «Вот также в гармонии со всем миром спокойно и уверенно жить бы на этом свете, как это звездное небо! Оно было до меня и будет после меня. А мир все-таки прекрасен! Господи, за что мне такая судьба?»

Вдруг послышались удары: взламывали дверь в комнату, и послышался отчаянный голос Зои:

— Ломайте же быстрее, — кричала Зоя. — Леонид, не надо, вдвоем мы справимся, ты вылечишься, у нас все получится! «Зоя? Любовь?.. Психушка! Мама! Овощ!.. Н-е-е-т!» —

последнее, что подумал он и с блаженной улыбкой, глядя на звезды, шагнул в вечность.

Когда дверь комнаты распахнулась, на подоконнике никого не было.

Традиции

Ранняя осень! Дожди еще не начались, небо по-прежнему голубое, но солнце уже не слепит глаза и не обжигает лицо. Листья деревьев и кустов еще зеленые, хотя и чуть приунывшие от неизбежного прощания с летом. Для тех, у кого в жизни наступила осень, природа вступает в гармонию с душой. Умиротворенная пора. Хочется думать и думать — так, ни о чем, просто радуясь тому, что живешь.

В тот тихий осенний вечер, когда солнце уже приблизилось к крышам домов, я, как обычно, вышел из дома прогуляться по улицам родного города. Каждый раз я менял маршрут своего маленького путешествия, чтобы внести какое-то разнообразие в это, в общем-то, скучноватое занятие, но одно оставалось неизменным: я всегда проходил мимо одной и той же церкви, стоящей на высоком холме, золотые купола которой, казалось, вот-вот вознесутся ввысь. Колокольный звон ее был слышен, наверное, во всех уголках нашего небольшого провинциального города. Мне нравилось зайти ненадолго в эту церковь, а затем немного посидеть на скамейке в прицерковном маленьком и уютном парке, провожая взглядом проходивших мимо меня прихожан, восхищаясь и завидуя их вере в бесконечное будущее.

Вот и сегодня купола храма, появившиеся из-за домов, вновь указали мне дальнейший путь. Как обычно перекрестившись, глядя на купола, я ускорил шаг и вскоре был уже внутри церкви. Хотя я и неверующий человек, но сама обстановка в храме и густо пропитанный ладаном воздух каждый раз приводили меня в состояние умиротворенности. Все земное уходило куда-то, я слышал только размеренный голос священника, и мой взгляд блуждал по ликам святых. Атмосфера церкви одновременно и подавляла мое я, сначала превращая его в нечто совсем маленькое, а затем и растворяя в себе, и возносило это самое я куда-то высоко, высоко, заставляя осознать и свою бренность, не жалея об этом, и величественную бесконечность и непознаваемость мира.

Наконец, одурманенный ладаном, я вышел из церкви и жадно вдохнул свежего воздуха. Голова прояснилась. Огляделся вокруг. Как и всегда в это время, людей в парке не было, и все скамейки были свободны, кроме одной, на которой сидел старик. Вид его был растерянный, он с надеждойгляделся в каждого прихожанина, проходившего мимо него, но поймать встречный взгляд ему не удавалось. Старик определенно хотел кому-нибудь выговориться, поделиться своими мыслями. Он даже сидел на самом краешке скамьи, приглашая тем самым присесть рядом. Не задумываясь, я направился именно к этой скамейке. Подойдя ближе, спросил:

– Вы позволите?

– Конечно, конечно, – тотчас ответил старик и чуть не упал, машинально попытавшись подвинуться еще ближе к краю скамейки. – Я видел, что вы вышли из церкви, и, обернувшись, перекрестились. Вы верующий?

– Нет, – ответил я. – И в церкви захожу и крещусь так – по традиции: как и многие, кто считает себя православным, хотя и без веры.

– Вот, вот и он тогда еще в начале лета сказал: «традиция», – задумчиво сказал старик и надолго замолчал. – С тех пор я прихожу сюда каждый вечер, и мне никак не удается с ним встретиться. Чем-то поразил он меня и смущил мою душу – то ли своей полной откровенностью, которую человек может проявить только на предсмертной исповеди, то ли своей крайней циничностью…

Старик опять надолго замолчал, и я не стал торопить его вопросами и тоже молчал, терпеливо ожидая продолжения.

Смеркалось. Я никуда не торопился и, достав пачку сигарет, закурил. Старик заинтересовал меня, и я был готов очень долго ждать, когда он заговорит.

Семен Петрович, так звали старика, был человеком спокойным, уравновешенным и со всех сторон положительным. Он вполне мог бы рассчитывать на безмятежную и даже счастливую старость. Однако после выхода на пенсию при-

шло осознание того, в чем он боялся себе признаться: он был одинок и никому не нужен. Последние годы его постоянно преследовала одна и та же ставшая навязчивой мысль: «Ведь была же и любовь, и семья, были друзья, были увлечения, а осталось только одиночество». Депрессия преследовала его каждый день из года в год.

В тот день Семен Петрович шел без всякой цели, потупив взгляд и не замечая ничего вокруг. Прогулкой он надеялся разогнать тоску в душе. Вдруг что-то заставило его поднять глаза, и он понял, что идет вдоль церковной ограды. Вспомнил о Боге, но это ничуть его не согрело, и, только увидев одиноко сидящего на скамейке священника, сразу же направился в его сторону.

– Здесь свободно? – спросил он священника.
– Да, присаживайтесь, – тотчас ответил тот, мельком взглянув на незнакомца.

Семен Петрович отметил про себя, что священник ничуть не удивился его выбором места отдыха, хотя все скамейки были свободны, и что, скорее всего, или он привык к тому, что люди подсаживаются к священнику спросить о чем-то, или он сам готов рассказать нечто о себе и потому рад случайному собеседнику. Худой, с проницательным взглядом и каноническим лицом, он был похож на святого, как их изображают на иконах; лет ему было около тридцати. «Молодое поколение!» – подумал Семен Петрович. Какое-то время они несколько напряженно сидели молча: Семен Петрович со-

бирался с мыслями, поскольку встреча со священником для него была неожиданной, а тот, прикрыв глаза, скорее всего, ждал его вопроса.

Чтобы как-то начать разговор, старик спросил:

– Вы служите в этой церкви?

– Да, – ответил священник. – И уже не первый год.

– Могу я спросить вас, батюшка, о личном? – наконец сбравшись с мыслями, спросил Семен Петрович.

– Слушаю, – проникновенным голосом ответил священник и представился: – Отец Николай.

Семен Петрович тоже назвал себя.

– К старости я ничего не сохранил из того, что имел, и остался совсем одинок и позабыт когда-то родными и близкими людьми, – начал рассказывать Семен Петрович. – Как же жить одинокому старику, не видя ничего впереди?

Отец Николай некоторое время молча смотрел на старика. Наконец прошли тягостные минуты тишины, и он сказал:

– Обратите свой взор к Богу: многим это помогает, и они перестают чувствовать одиночество, ведь Господь и человек – это уже двое!

Семен Петрович сразу подхватил эту мысль:

– Я тоже так думал и пытался последнее время обратиться к религии, прочитав несколько раз и Ветхий Завет, и Евангелие, но в отчаянии понял, что вера не пришла. И надежды у меня больше нет!

– Заметьте, любезнейший Семен Петрович, что я ведь не

сказал: «Господь и верующий человек...», а произнес: «Господь и человек...». Вы пытаетесь открыть дверь, которая и так уже распахнута перед вами: Господь всегда с каждым из нас, и с вами тоже, и Он судит человека не по тому, считает ли тот себя верующим, а по тому, праведно ли прожита им жизнь или нет.

– Но как же без веры-то обратить свой взор к Нему? Это же, наверное, большой грех?

– Отнюдь! Истинно верующих людей крайне мало; вера не зависит ни от того сколько религиозной литературы вы прочитали, ни от того в какой семье вы выросли и были ли ваши родители верующими. Веру человеку дает сам Бог, и выбор его неисповедим! Религия – это не демократия, где властвует большинство; в религии носителями истины являются единицы! Почему верадается именно этим людям, а не другим, нам понять не дано, да это и не нужно, достаточно того, что вас потянуло в храм Божий. Двери храмов открыты для всех. Многие из прихожан – люди или престарелые с неизгладимой тоской в душе, либо больные или убогие, жизнь которых напоминает больше мученичество, чем нормальное существование. Такие, как вы, Семен Петрович, пытаются скрыться под сводами храма Божьего от одиночества и от давящей тоски по прошлому, которое вернуть невозможно; больные и убогие прячутся здесь от непонимания того, почему именно им выпала такая злая и безжалостная судьба.

– Мне странно слышать такие слова от священника, –

удивленно почти прошептал Семен Петрович и замолчал, не в силах произнести больше ни слова.

– Скажу вам больше: может быть, вам станет легче, если вы будете это знать, – продолжил говорить святой отец. – Сам-то я тоже неверующий и никогда им не был!

– Как же вы оказались в священниках? – уже в отчаянии от того, что в голове у него все перепуталось, спросил Семен Петрович.

– Извольте, отвечу: традиция! Родившись в семье потомственных служителей культа (и отец, и дед, и прадед были священнослужителями), я пошел по их стопам и тоже стал священником.

– А как же святая миссия священника нести слово Божье людям?

– Я и «несу», уважаемый Семен Петрович, я и «несу»! – ответил батюшка. – Работа священником может быть, как и любая другая работа, и призванием, и просто добросовестным выполнением своих обязанностей. Мы, священники, так же, как и в любой профессии, получаем необходимую сумму знаний (семинария), отрабатываем рабочий день, получаем зарплату, ходим в отпуск…

– Но вы же имеете дело с душами людскими! – совсем обескураженный, произнес с отчаянием Семен Петрович.

– Вы абсолютно правы, – охотно ответил батюшка. – Но повторяю, что в семинарии мы получаем глубокие знания, в

том числе и в области психологии, и в области психиатрии, что помогает нам понять человека, а подчас и помочь ему. Хотя не могу умолчать о том, что если и психолога, и психиатра вы или ваши родственники в определенных случаях могут призвать к ответственности, то священнику в этом смысле ничего не грозит, и все определяется только мерой его внутренней ответственности перед людьми. Сподвижничество, но не вера – вот, пожалуй, самое главное, оно же и единственное, отличие профессии священника от других профессий.

– Но исповедь! Вам же приходится исповедоваться, и на исповеди вы каждый раз обращаетесь ко лжи, скрывая свое неверие. А это большой грех, – не унимался Семен Петрович. – Может быть, и само понятие греха для вас чуждо?

– Ошибаетесь, любезнейший Семен Петрович, – ответил священник. – Грех существует для всех, и верующих, и неверующих. Это нарушение канонов, традиций, обычаев, принятых в обществе, а не только нарушение заповедей. В свое время мой отец тоже мучился вопросом об исповеди прежде, чем благословить меня в семинарию, но, решив в конце концов, что, может быть, Бог избрал для меня именно такой путь в вере, все-таки согласился с моим выбором жизненного пути...

Молодой батюшко взглянул на часы.

– Впрочем, я с вами заговорился, мне пора на работу! Прощайте. Надеюсь, я успокоил вашу душу. Не надо мучить-

ся в поисках веры в надежде обрести бесконечное будущее, а надо жить сегодняшним днем, помня о том, что Бог с каждым из нас, — проникновенно произнес человек в рясе и очень тихо, может быть, только для себя, а не для того чтобы его услышал собеседник, добавил: — Если, конечно, Он есть.

Отец Николай встал со скамейки, быстрым шагом подошел к дверям храма и скрылся из виду.

Через мгновение раздался звон колоколов, возвещавший о начале вечерней службы.

Семен Петрович закончил свой короткий рассказ, и мы оба сидели молча, потрясенные настолько, что даже не пытались осознать суть тех событий. Стемнело. Птиц уже не было слышно. Этот ничем не примечательный осенний день уходил куда-то в бесконечное прошлое.

Наконец я прервал молчание и спросил Семен Петровича:
— Как, вы говорите, звать того батюшку?

— Отец Николай! — ответил он.

Я долго молчал, никак не решаясь сказать то, о чем думал, но все же не удержался:

— Семен Петрович! Вот уже много лет каждый вечер захожу я в эту церковь, знаю всех священнослужителей здесь и должен сказать, что здесь никогда не было и сейчас нет отца Николая!..

Уже наступила ночь, а мы все сидели и сидели в полном

безмолвии, удивленно глядя друг на друга. Порыв ветра заставил нас вздрогнуть, и тишину нарушил шум листвы деревьев. Мы подняли взгляды и увидели, как в раздвигающейся все шире и шире кроне деревьев перед нами открывается черное осеннее небо с мириадами звезд и знакомыми с детства созвездиями. Созвездия неожиданно рассыпались, и звезды, казалось, хаотично, начали метаться по небу, ища свое, и только свое единственно правильное место в просторах вселенной. Через несколько мгновений перед нами предстала удивительная картина: Млечный Путь и пересекающий его огромный во все небо Крест.

– Знамение? – тихо спросил старик.

Я промолчал, не зная ответа на этот вопрос...

Хмурое утро

С утра было хмуро, сыро и холодно, хотя на календаре был июнь. Из открытого окна доносилась суетливая возня воробьев с чириканьем и хлопаньем крыльев: им было весело с приходом нового дня и пора было начинать заниматься ежедневными проблемами и ежедневными хлопотами. «Заразы! – ворчал Ефим на эту неугомонную братию и ворочался на кровати с боку на бок. – С четырех утра спать не дают, и что им неймется, ведь рано ж еще». Воробы ничего этого не слышали, а если бы и услышали, то все равно не смогли бы понять человеческую утреннюю муку с тяжелого похмелья. Впрочем, из-за похмелья каждое утро для Ефима было хмурым.

«Алкоголизм… – вспомнил Ефим слова участкового врача. – И кто ее спрашивал? Ведь зашел в поликлинику в кои-то веки, и то потому, что в магазин смысла идти не было: пенсия кончилась, а до следующей ждать еще два дня. Хотел пожаловаться, что в боку болит, а тут на тебе – печень».

– А то будет еще хуже, – сказала врач.

«А так вечно, что ли, жить буду? – подумал Ефим, но милой девушке в белом халатике перечить не стал. – Кто знает, может, еще придется обратиться?»

Вообще-то, слово «алкоголизм» он слышал в свой адрес

уже не раз, но каждый раз думал: «Ну какой же алкоголизм? Вот с утра еще не принимал, а не ломает. Хочется? – Да! Но не ломает же. Вот Серега, этажом выше, как не примет, так весь трястется, и что сказать хочет – не разберешь. А выпьет – так сразу человеческий облик принимает и говорит складно и даже толково».

Ефим умом-то понимал, что пить каждый день нельзя. Зараза эта прихватила его не сразу – постепенно, и не заметил, как спился. В молодости мог поддержать компанию, но среди друзей и знакомых считался малопьющим, а кто-то считал его и вообще трезвенником.

Да, спился, и в этом он себе признавался, а почему так произошло? Кто ж теперь разберет? Вроде поначалу и Маша, жена, не против была: надо, мол, мужику расслабиться после работы, ведь работал он по жизни не инженером каким-нибудь да не в костюмчике, а все физически да в робе: грузчиком, рабочим на стройке, шофером – да мало ли, все и не упомнишь. Так и втянулся Ефим – и сам не заметил. Заметила Маша, но поздно, и, в конце концов, подала на развод.

Познакомился он с Машей случайно, как это чаще всего и бывает, когда уж и думать о женитьбе перестал: по-мужицки он был силен, а вот детей иметь не мог – проверялся не раз. Думал взять с детьми и усыновить или удочерить ребенка, а то двух, но так и не повстречалась, что по душе да с детьми.

А тут вдруг, когда уж и думать о семье Ефим перестал, – Маша. Стоит себе такая тихая да скромненькая на платфор-

ме, электричку ждет да мороженое облизывает. И так потянуло Ефима прижаться, пригреться, успокоиться возле нее, что не стерпел он, подошел, заговорил, предложил проводить: ему, мол, до той же станции надобность. И пошло, закрутилось что-то между ними, обхватило их обоих какими-то нитями, и через два дня уж и пожениться решили. Боялся Ефим, что вскроется все о нем, да думал: «Ладно, хоть немного поживу как человек».

Свадьбу сыграли скромно: родни у Ефима не было, да и у Маши только тетка да дед, у которого и жила. А вскоре объявила Маша Ефиму, чтобы радовался: ребенка ждет. Ефим и не раздумывал – радовался. «Так подфартило, – думал он. – Что и не гадал. Так пусть будет мой!» Назвали Петей. Петр Ефимович – звучит! Нежданным было счастье его мужицкое.

Больше по сыну тосковал Ефим после развода, а не по Маше. Так тосковал, что вскоре в больницу попал, в кардиологию – но обошлось. Самый радостный день у Ефима был, когда зарплату выдавали. «Значит, сегодня алименты Маше на Петю перечислю», – уже с утра думал он. Да и прибавлял сверх того, сколько мог.

Жизнь Ефима только в сыне и была. Жил он теперь в другом городе. Писал письма Маше; она отвечала, подробно все, особенно о Пете, но просила самому Пете не писать: что надо, мол, она передаст сама. Ефим перечить не стал: они оба знали, что Петя не его родной сын. В письмах, когда упоми-

нала Петю, всегда писала: «Твой сын...» Жалела она Ефима, знала, что пьет, да так ведь и не знала она, что детей у Ефима быть не могло. Одиннадцать лет прожили они вместе, а вроде, кроме этих одиннадцати лет, Ефиму и вспомнить было нечего, а ведь жизнь погоняла его по стране, да по стройкам, да по дорогам, да и женщин он повидал немало.

Так и жил Ефим памятью да, пожалуй, еще и... бутылкой.
«Да... Ж-и-и-знь».

Лежать уже не было смысла: к воробьям прибавился шум машин с улицы под окном, а, главное, голова просто раскалывалась, и лезли какие-то противные воспоминания о вчерашнем вечере. Воспоминания были не какие-то конкретные, а так, в общем. Пили сначала «Столичную», затем пиво, о чем-то спорили; Серега был, Славка, кто-то еще, кого-то провожали до дома. Пили на Славкину пенсию – больше ничего не помнил, и как дома в постели оказался – не помнил. Да и не старался Ефим вспоминать: все повторялось изо дня в день.

Ефим оделся и вышел из дома.

Как всегда, Ефим перед тем, как войти в магазин, закурил и, как всегда, задал себе вопрос: «Брать или нет?» Вид у него был настолько жалкий, пропитой в поношенных за долгие годы брюках и куртке, что прохожие не бросали ему мелочь только потому, что не было перед Ефимом куда бросить. Ефим мучился головной болью, отвратительной сухостью во рту, тяжестью в животе, курил, но каждый раз перед

магазином задавал себе этот вопрос. И каждый раз искорка надежды вспыхивала где-то глубоко-глубоко: а вдруг именно сегодня все изменится, и пойдет он гулять в сквер, а потом в какой-нибудь музей или библиотеку, а потом будет дома смотреть телевизор и пить крепкий чай с печеньем? И каждый раз, помечтав, он переступал порог магазина, возвращаясь на путь истинного пьяницы.

— Как всегда, Ефим? — спросила продавщица.

Был он для всех просто Ефим, а не Ефим Семенович. Глядя на жалкий вид Ефима, никто даже подумать не мог прибавить к его имени еще и отчество. В магазине больше никого не было, и продавщица, зная ответ, облокотилась на прилавок и спокойно ждала, улыбаясь: насмотрелась она таких на этой работе. Ефиму вдруг вспомнилось, как улыбалась Маша и как смеялся Петя, идя между ними и держась за их руки. Неожиданно для себя Ефим ответил:

— Пачку «Примы» и бутылку «Ессентуков».

Сидя в сквере, он медленно курил сигарету за сигаретой. Ефим задумался о жизни: «Как было бы хорошо, если бы все вернуть назад, когда Петя маленький, а Маша часто смеялась, слушая его, Ефима». Он вспоминал и о том, что, когда Пете исполнилось восемнадцать, продолжал помогать им деньгами, пока работал, до самой пенсии. А как пенсия подошла, какая уж помощь? Самому бы концы с концами свести. Да и на пенсии о сыне не забывал: писал Маше, что если туда им придется, то поменяет свою однокомнатную на ком-

нату. В том и смысл жизни ощущал, какой-никакой, а стержень в нем был: сын у него. Маша писала, что Петя окончил институт и сейчас работает в другом городе, так как у них, в захолустье, работу «днем с огнем...» Писала также, что все ладится у него, что уж начальник какой-то, но семьи пока нет: рано, считает. И так увидеть сына хотелось Ефиму, аж до тоски; и понимал Ефим, что таким он показаться не может. Оттого и не спрашивал у Маши адрес Пети. А увидеть все ж до того хотелось, что все бы отдал – увидеть и умереть.

Меж тем распогодилось, солнце припекало, и Ефим задремал на скамейке.

Очнулся он оттого, что сигарета, дрогрев, обожгла пальцы. Он попил «Ессентуки» из бутылки и закурил новую сигарету. «Хорошо, как на курорте, в санатории: Ессентуки, скамеечка, и спокойно на душе». До него доносились голоса редких прохожих.

По скверу, мимо скамейки, проходили три человека, что-то бурно обсуждая.

– Петр Ефимович, – услышал Ефим голос одного из них с угодливой, как показалось Ефиму, физиономией. Тот обращался к молодому мужчине среднего роста, шедшему посередине, явно начальнику. – Мы будем заключать договор?

– Надо еще поду...

– Петя! – вдруг вскрикнул Ефим, вскочив со скамейки.

Все трое от неожиданности остановились перед Ефимом и молча смотрели на него. Молчание затянулось и стало уже

тягостным. Первым пришел в себя «угодливый». Видя, что начальник замялся и весь как-то сжался, угодливый, оглядев с удивлением Ефима с ног до головы, осторожно произнес:

– Вы обознались.

– Да как же? Петя, сынок! – произнес Ефим дрожащим голосом.

Ефим видел в глазах «начальника» родной взгляд и ждал, что вот-вот тот улыбнется, и они обнимутся – но тот молчал.

Пауза опять затянулась до неприличия, и, поскольку «начальник» по-прежнему продолжал молчать с растерянным видом, угодливый опять вмешался, обращаясь к Ефиму:

– Извините, как вас зовут?

Бутылка минералки вдруг опрокинулась на скамейке, и из нее стала выливаться вода. Ефим машинально повернулся, поднял бутылку и поставил ее рядом со скамейкой. За то время, что он это проделал, Ефим успел взглянуть на себя со стороны и осознать свой жалкий и пропитой вид...

– Семен, – тихо, разрывая себе душу, произнес Ефим.

– А наш-то, наш – Ефимович, папаша, – радостно произнес угодливый и добавил:

– Обознались, любезнейший.

– Пойдемте, пойдемте, – произнес третий, высокий, молчавший до того. – У нас еще дел невпроворот, а к двум часам мы уже должны быть на совещании.

Троица быстро удалялась.

«Вот и свиделись, Петя. Увидеть и умереть?!» – подумал

Ефим, и до того ему стало жалко себя и... Петю – Петра Ефимовича, что хоть плачь.

Прохожие с жалостью смотрели на плачущего старика.

– Отец, случилось что? Пенсию украли? – спросил молодой парень, проходя мимо.

– Да нет... сына встретил.

– С радости, значит?

– Ага, с радости.

Опять заболело в боку, в груди что-то сжалось и не отпускало, утро снова стало хмурым.

Ефим обернулся, посмотрел через дорогу на магазин... и решительно сказал:

– Брать!

Чужие люди

Леонид Сергеевич возвращался из Москвы домой в город Слюдянка, что стоит на самом берегу озера Байкал. Он лежал на верхней полке плацкартного купе, смотрел вперед по ходу состава и вспоминал родные края. Еще его предка, казака-землепроходца, в семнадцатом веке забросила судьба в эти места, да так и прижился он здесь, семью завел, хозяйство. Родным для их рода стал Байкал, как и для многих русских людей, оказавшихся здесь, кто по собственному выбору, а кто и поневоле.

Много лет мечтал Леонид Сергеевич с супругой побывать в столице, да все как-то не складывалось. Каждый год со своими сослуживцами или друзьями что-нибудь затевали в отпуск: то рыбалку, то охоту, то за орехом кедровым собираются. Места-то богатейшие. Годы бежали незаметно: вот они с Катюшой уже и пенсионеры. А уж теперь на какие деньги в Москву-то поедешь? Да и здоровье уже не то.

Домой Леонид Сергеевич решил не на самолете, а на поезде ехать, хотя и знал, что ждут не дождутся его дома. Поманить ему надо было, о чем дома рассказывать, да и устал он сильно от толчей и суеты московской. Отдохнуть хотелось, душой очиститься, вжиться снова и постепенно в Русь провинциальную с ее пирожками печеными и картошкой варе-

ной, которые женщины на малых станциях продавали. И еще хотелось вновь почувствовать всю необъятность Родины с ее лесами, полями, тайгой, речушками и реками, коих и не со-считать. Да и разговаривать ни с кем не хотелось, потому и взял он в плацкартном вагоне верхнюю полку на той стороне купе, с которой можно всегда вперед смотреть и видеть, как красиво изгибается на поворотах поезд.

А подумать было о чем: что Катюше сказать о житье дочери в столице. Но хоть и длилась вся поездка по железной дороге почти четверо суток, так слов он и не придумал. «Ладно, там видно будет», – решил Леонид Сергеевич. В поезде в разговоры не вступал: или лежал, отвернувшись к стенке, или в окно смотрел по ходу поезда. Всего в купе их было четверо: двое мужиков молодых лет по тридцать-тридцать пять и четвертой ехала в Иркутск старушка, внуков повидать. Мужики как только ни уговаривали Леонида Сергеевича то в карты с ними сыграть, то водки выпить – все напрасно. «Чувствую себя неважко», – на том разговор и заканчивался, но сам-то он на каждой станции выходил из вагона: тело размять да поесть купить. Однажды, войдя после такой прогулки в свое купе, слышит, как старушка одного из мужиков спрашивает:

– А коль гулящая баба-то попадется, неужто не побрезгуешь?

Видать, о женщинах у них разговор шел.

– Гулящая? – как бы раздумывая, повторил тот. – Что ж,

развлечься можно, если еще и сама из себя недурна? Погуливали, было дело.

— А если за деньги? — не унималась попутчица.

— А вот это ни-ни, ни за что с ней дела иметь не буду, видать, совсем пропаща девка — пакость это, грязь. Мы душу-то в чистоте блюдем! Товарищ его одобрительно поддакнул ему и покивал головой: мол, ни за что. Лег Леонид Сергеевич на свою полку, отвернулся к стене, и надолго застяли в его голове слова: «... в чистоте блюдем».

С каждой станцией по мере продвижения поезда — Новосибирск, Красноярск, Тайшет... — сердце у Леонида Сергеевича щемило все больше и больше. Наконец в Иркутске он так разволновался, что аж закололо слева в груди: до Слюдянки всего-то километров сто-сто десять оставалось, а чтобы Байкал увидеть, надо только чтобы поезд перевал проехал в предгорье Приморского хребта. «Скорее бы уж», — думал он. Много хаживал он по молодости вокруг Байкала и до Баргузинского хребта, который на противоположной стороне озера, доходил.

Когда поезд по серпантину начал спускаться с перевала, Леонид Сергеевич так и замер: озеро-море Байкал вдруг предстало с высоты гор во всей своей необъятности. Он даже оборвал разговор мужиков о том, уродится в этот сезон кедровый орех или нет:

— Да тихо вы, помолчите немножко. Смотрите, красотища-то какая, глаз не нарадуется.

— Смотри, смотри, тебе такое в диковинку, а мы за свою жизнь с лихвой навидались, здесь все приезжие затихают и любуются, ахают да охают, — дружелюбно сказал один из соседей по купе.

— Да, первозданность какая, душа очищается, глядя на этакое, — поддакнул один из мужиков взглянув в окно. — А ты бабка «за деньги, мол, тьфу», — и продолжили разговор свой, но голоса понизили.

Помолчал немного Леонид Сергеевич, но не удержался, сказал тихо, даже головы к мужикам, не повернув и не отрываясь глядя на великолепное чудо:

— Я родился на берегу этого озера.

Наконец-то почувствовал он себя дома, на родине, и такой далекой-далекой показалась ему Москва с ее безразличием людей друг к другу: идешь по городу, а вокруг все чужие. «Здравствуйте» некому сказать, да и спросить этих чужих людей о чем-либо стесняешься. «Холодный город, бесчувственный», — подумал он.

И снова накатили воспоминания.

Вера была единственным ребенком в семье. После ее родов Катерина Ивановна, Катюша, супруга Леонида Сергеевича, больше детей иметь не могла, так и остановились на одном ребенке. Девка выросла с характером. «Вроде и не баловали ее, все у нее было то же, что и у других детей, за учебу в школе строго спрашивали с нее. А самолюбия — хоть отбавляй. Что же упустили, что не так делали? Вроде все так», —

спрашивал себя Леонид Сергеевич и не мог найти ответа.

После окончания школы уехала она учиться в Иркутский университет. Училась так себе: как говорится, звезд с неба не хватала, но после окончания учебы решила ехать в Москву, там искать работу. Родители отговаривали ее как могли, мол, и здесь работа найдется, но дочь с гонором была: «Пойду и все!» Так и уехала, повздорив с матерью и отцом. Боялись родители, что Вера совсем от дома отобьется и писать не будет. «Что там – медом намазано, что они все в столицу стремятся?»

Но вопреки родительским опасениям, письма присыпала, хотя и редко. Писала, что устроилась в крупную компанию и зарплата хорошая, но денег родителям не посыпала. Родители так рассудили: «В столице, мол, жизнь недешевая, самой ей хватало бы, и ладно». А уж когда последний раз звонила, того и не припомнить. Ну да пусть так, Леониду Сергеевичу с супругой и своих пенсий на жизнь хватало.

Мать скучала молча, не докучая дочери своими письмами, а отец часто писал Вере, рассказывая о местной жизни и общих знакомых, но в каждом письме намекал ей, чтобы не забывала и его с матерью, и родные края; звал вернуться. Телефонные звонки в Москву дорого обходились, и поэтому так и договорился с дочерью, что звонить будет, если что-то у них важное случится.

Только неспокойно было на душе у Леонида Сергеевича: адрес, где живет, не называет, где работает – тоже, нет-нет,

да упомянет в очередном письме, что ехать к ней в Москву не надо: мол, занята очень и времени у нее совсем нет – весь день на работе. Но в каждом письме обещала, когда освободится немного, приехать домой. И так уже третий год.

Как-то шел Леонид Сергеевич по улице, о своем о чем-то задумался, вокруг себя не смотрит и вдруг слышит:

– Видела я эту Верку в Москве. Вся из себя расфуфыренная, накрашенная, как кукла, нос кверху – прошла мимо, даже не поздоровалась, а ведь лучшие подруги в школе были. Не иначе как спонсора себе там нашла и живет припеваючи...

Поднял взгляд Леонид Сергеевич, а перед ним идет Настя, Верина подруга, на ходу с местными девчонками разговаривает. Пришлось ему, пока Настя его не увидела, в переулок свернуть, а слова-то ее запали в душу, взбудоражили.

По субботам Леонид Сергеевич со своим другом (еще со школьных лет) Семеном Семеновичем затевали баньку. В одну из таких суббот, как расслабились в парилке, он возьми да попроси своего друга узнать, что можно, про дочь. Семен тоже на пенсию вышел, но всю жизнь в Иркутске во внутренних органах проработал. «Старые связи, наверное, еще остались», – думал Леонид. Тот сразу серьезным стал, спросил:

– Что? Какие-то сведения нехорошие о Вере имеются?

– Наоборот, в письмах-то она пишет, что все хорошо, вот только не указывает, где работает, чем занимается, где живет, а я в гости к ней хотел бы съездить, посмотреть, как она

там, а то вот и Катюша волнуется, переживает, места себе не находит.

— Ладно, сделаю. Человек не иголка, найти нетрудно, если только он специально не прячется. Мы с тобой с самого детства друзья, так что договоримся сразу, Леонид: что бы я ни узнал — без обид, — строго сказал Семен.

— Что ты, что ты, что ни узнаешь, за все спасибо скажу, — радостно ответил Леонид.

Через три дня Семен зашел в гости к Леониду.

— Вот адрес, где она зарегистрирована, — и протянул Леониду записку.

— Про работу ничего выяснить не удалось. То ли неофициально работает и зарплату в конвертике получает, сам знаешь, так сейчас многие работают, то ли вообще не работает. Может, замуж удачно вышла и живет себе, горя не зная.

Подумал немного и задумчиво добавил:

— Почему тогда вам не помогает и в гости не приезжает? Непонятно. В общем, ехать тебе надо, разобраться во всем, а то уже и я волноваться начал.

Почувствовал Леонид, что не договаривает что-то старый друг. «Ведь могли запрос участковому по месту ее регистрации послать, — подумал Леонид. — Тот-то свой участок должен знать». Но Семену ничего не сказал, понял главное: надо ехать.

Билеты на самолет Иркутск — Москва были только через три дня. Супруга совсем покой потеряла, места себе не на-

ходила, и Леонид Сергеевич решил не ждать, сидя дома, эти три дня и отправился местным поездом (Кукушкой – остаток от задуманной еще в царское время Круглобайкальской железной дороги) до поселка Байкал, который стоит на реке Ангара. Интересно ехать по этой дороге: смотришь налево в окно поезда – и взгляд упирается в крутые склоны, ведущие на Олхинское плато; повернешь голову направо – озеро Байкал вроде как у твоих ног плещется, нервы успокаиваются. На Ангаре он пересел на катер и доплыл до Иркутска, любуясь байкальской тайгой. В аэропорту так и хотелось ему позвонить Вере, предупредить, что скоро будет у нее в гостях: то доставал телефон, то опять в карман пиджака убирал, но все-таки что-то удержало его от звонка. До его рейса было три часа, и он неспешно прогуливался взад-вперед не зная, чем себя занять. Среди пассажиров с чемоданами и сумками, то и дело подходящих к табло посмотреть, не задерживают ли их рейс, он обратил внимание на стоявших где-нибудь на видных местах девиц, всем своим видом показывающих, что они совершенно свободны и никуда не торопятся. По одежде и бросающемуся в глаза макияжу Леонид Сергеевич понял, что это женщины определенной профессии. «Вот бы родители узнали? Беда-то, какая!»

Билет до Москвы он специально купил на ночной рейс с таким расчетом, чтобы у Веры быть пораньше утром, часов в шесть. «А то уйдет на работу и жди, когда вернется».

В Москве он долго плутал от дома к дому, тщетно пытаясь

найти тот, что указан в записке Семена: дома похожие, проходящих в столь ранний час с огнем не сыщешь, а и те редкие встречные, которые попадались на улице, отвечали отрывисто, быстро: «Не знаю», – и бежали дальше – очевидно торопились на работу. Пожалел Леонид Сергеевич, что у таксиста не уточнил нужный дом. Вышел на дорогу и стал голосовать, вроде как такси ему нужно. Так, с помощью проезжавшего мимо таксиста, у которого был навигатор, удалось ему найти нужный дом. Было точно шесть часов утра. На всех подъездах кодовые замки, просто так не войдешь. Только одна стаrushка сердобольная со словами: «Старый, а туда же», – впустила его в подъезд.

Леонид Сергеевич поднялся до нужного этажа, долго звонил в дверь нужной квартиры. Думал уже ждать, сидя на ступеньках лестницы, как дверь вдруг открылась и на пороге показалась девица с заспанным видом лет этак двадцати двух–двадцати четырех, в ночной рубашке, в расстегнутом халатике и со следами вчерашней косметики на лице.

– Кого тебе? – спросила она Леонида Сергеевича, широко зевая.

– Мне бы Вери увидеть. Ведь она здесь живет?

– Верка-то? Здесь, здесь, только ты, старый, рано приехал, они втроем с Машкой и Алисой вчера поздно по звонку уехали, еще не пришли. Думаю, часа через два вернуться, – ответила девица и захлопнула дверь.

Леонид Сергеевич посмотрел на часы и решил ждать на

лестнице – только этажом выше – опасаясь, что если выйдет из подъезда, то потом снова войти будет сложно. Отодвинув в сторону консервную банку, полную окурков, стоявшую на подоконнике, расстелив газету, достал бутерброды и позавтракал. Затем присел на ступеньку и, прислонившись к стене, задремал. Снилось ему, как гуляет он с Верой – она тогда совсем маленькая была – по берегу озера. Вера бегает вдоль воды, резвится, а нет-нет, да и плеснет из ладошки на отца холодной байкальской водой, и хохочет, остановится не может:

– Папа, папа, – кричит. – Мокрая?

Вдруг он слышит голоса девичьи. Девчонки, похоже трое, поднимаются по лестнице и спорят о чем-то, и не просто спорят, а такими ругательствами, многие, из которых он и в жизни-то не слышал. Прислушался, среди голосов и Верин голос и та же ругань. И поразило его, что девочки не ссорятся, а просто так общаются между собой. Хватило нескольких мгновений, чтобы он все понял: заспанная девица в дверях, «вечером по вызову уезжают», с работы только утромозвращаются, и словечки, которыми девочки разговаривают.

Встал он с лестницы, отряхнул брюки и решительным шагом пошел вниз, навстречу девичьей компании. Услышав звук шагов сверху, те сразу притихли. Леонид Сергеевич, спускаясь, уже вплотную приблизился к компании девчонок (впрочем, они были очень разновозрастные) и только тут услышал:

– Папа! Отец!

Одного взгляда на дочь хватило Леониду Сергеевичу, чтобы утвердиться в своих догадках о том, чем она занимается. Он прошел сквозь девчонок и только затем, обернувшись и посмотрев дочери в глаза, тихо сказал:

– Нет у тебя, Вера, теперь ни отца, ни матери – забудь, гуляй и дальше.

Ничего не сказал больше Леонид Сергеевич, но слова эти, а особенно взгляд ее: сытый и развратный, как ножомрезанули по сердцу, вышел из подъезда и быстрым шагом направился к шоссе, такси ловить. Окно на третьем этаже лестничной клетки вдруг открылось, и Вера вся в слезах стала звать его:

– Папа! Папа! Отец! Ну, я прошу тебя, не уходи так!

Такси на дороге не было, и Вера успела выбежать из подъезда и нагнать отца.

– Пап, не уезжай так, давай сядем на скамейку, поговорим, – умоляюще попросила Вера. – Вот ведь и в Библии сказано, что нужно прощать «... до седмижды семидесяти раз».

– Так то про тех, которые искренне раскаиваются, – сказал отец. – А прошу я тебя, что от этого изменится? Ты другая станешь? Нет! По глазам вижу, что нет в тебе раскаяния.

И пошел дальше вдоль шоссе, а вслед себе услышал:

– Жить не умеете, потому и не живете, а существуете на пенсию, в нищете! – выкрикнула дочь. – А я по-человечески хочу жить, чтобы у меня все было, и не горбатиться «во глу-

бине сибирских руд». Последние слова она проговорила из-
девательски и с явной насмешкой над отцом с матерью, да и
над всеми такими, как они.

Леонид Сергеевич, сев в первое остановившееся такси,
коротко сказал:

– К Казанскому вокзалу.

До отхода поезда времени было много, и Леонид Сергеев-
ич сидел в зале ожидания. Здесь он тоже заметил таких же
никуда не спешащих девиц и загляделся на одну из них: его
привлекла молодость девушки – на вид ей не было и восем-
надцати лет. Она тоже обратила на него внимание, подошла
и села рядом.

– Что, мужчина, девушку желаем? – сказала она, привет-
ливо улыбаясь. – Хата рядом, быстро туда-сюда обернемся.

– А я думал, вы помоложе и посимпатичнее выбираете? –
сказал в свою очередь Леонид Сергеевич.

– Послушай, дед: не мы выбираем, а нас выбирают, и будь
он хоть урод девяностолетний, нам все равно, лишь бы бабки
платил. Понял? – по блатному ответила девица.

– Понял, – ответил он.

Подошел здоровенный парень, спросил девицу:

– Что? Проблемы?

– Нет, просто у нас с дедулей душевный разговор был и
все!

– Станция Слюдянка, – раздался голос проводника и вы-

вел его из задумчивости. Сойдя с поезда, он сразу пошел к берегу Байкала, а не домой. На берегу озера он, ополоснув холодной водой лицо, подставил его ветру. Так хотелось смыть с себя всю ту грязь, что, казалось, прилипла к нему, и забыть – забыть эту поездку в Москву. Он снова вспомнил Веру маленькой. Слезы потекли у него по щекам. Только сейчас он понял, какое огромное горе у них в семье. «А жить дальше как-то надо. Катюше скажу, что все хорошо у Веры, устроилась на работу удачно, и с жильем повезло, а то у нее сердце больное – может не выдержать», – подумал он. Про свое сердце-то он и не думал, считал, что ему все нипочем, вроде как прожитые годы и не отразились на нем.

Он стоял и стоял на берегу Байкала, не в силах оторваться от этой чистоты, первозданной и до сих пор сохранившейся. «Знал или не знал Семен о том, что с Верой в Москве происходит? Впрочем, какая теперь разница», – подумал Леонид Сергеевич. Странно. Но чувство ненависти к дочери за четверо суток притупилось, только что-то тянуло в груди слева – тянуло и тянуло. Понял он, что с этим ему жить весь остаток жизни. Вдруг вспомнилось когда-то прочитанное в Евангелии: «Не может дерево доброе приносить плоды худые...»

– Так это мы с Катюшой плохо воспитали и виноваты во всем? – прошептал он тихо. – Быть того не может!

Вечерело. Почувствовав, что стало прохладнее и ветер усилился, резко повернулся и быстрым шагом пошел домой.

Вера с трудом поднялась до нужного этажа, вошла в квартиру, которую они снимали с девчонками, устало доплелась до стула в углу комнаты и упала на него. Она долго рыдала, закрыв лицо руками. Лишь с трудом сквозь слезы иногда можно было разобрать ее слова: «Эх, отец, отец! Папа! Купить надо Саше ботиночки». Вспомнились ей приезд в Москву, удачное устройство на работу, комната, которую она сняла, и Александр – студент, с которым познакомилась случайно. С Александром они сразу полюбили друг друга. Вспомнился и ее непосредственный начальник, который, хотя и был женат, с первого взгляда стал к ней неравнодушен и все приставал с намеками разными. Но стоило ему узнать, что у Веры парень есть (проговорилась подруге на работе), вынудил ее уволиться по собственному желанию. Нашла другую работу – попроще, и платили меньше. От Александра и забеременела. Долго не решалась ему все рассказать, но в конце концов рассказала. Тот посмотрел на нее с удивлением и сказал, что в его планы пока не входило ни жениться, ни детей иметь. Хлопнула Вера дверью и выскочила на улицу вся в слезах.

Когда беременность ее уже стала видна, пришлось и с этой работы уволиться. Родила. А жить как? Деньги кончаются, на руках ребенок, об устройстве на работу и думать нечего, домой не вернешься: позор-то какой, да и город ее родной не такой уж большой – знакомые на каждом шагу. А главное, родителям на старости лет такой срам! Так вскоре и

оказалась она в этой квартире, которую девчонки прозвали: «яма», где всего их жило вместе с Верой восемь человек, и ребенка пристроила неподалеку: у одинокой пенсионерки с отдельной жилплощадью.

Вера быстро освоилась с «древнейшей профессией»: уже на третий-четвертый выезд по вызову пропала стыдливость, появилось некое ощущение вечного праздника. Она поняла, что «заработать» здесь можно больше, чем на какой-либо фирме, только вертись. Но, главное, что ее и пугало и радовало – это то, что ей нравилась такая жизнь, и ей совершенно был безразличен возраст, внешний вид, количество новых знакомых, к которым ее вызывали... Ребенок вот только мешал: много времени на него уходило, приходилось вечера и выходные проводить с ним.

– А куда его? – порой думала она о сыне. – К родителям бы его отвезти...

Да какое там, она и в город-то родной боялась ехать.

Накануне приезда отца в Москву студенты вызвали трех девочек для компании: мальчишник в честь чего-то устроили. Заходит Вера с двумя подругами в их квартиру, а там Александр – любовь ее бывшая. Опесели они, друг перед другом стоят, молчат. А студент возьми да скажи с издевкой:

– Я так и подозревал, что ребенок не мой, поди, сама не знаешь, чей он.

Развернулась Вера с достоинством и вышла из квартиры,

но в дверях остановилась и через плечо бросила:

— Твой мальчик, твой!

На улице подождала подруг, которые тоже скоро вышли из подъезда. Одна из них только и сказала:

— Других девчонок будут вызывать.

Больше они об этом случае не вспоминали, решили девичник устроить и всю ночь просидели в ресторане. Вот тогда-то, возвращаясь к себе в «яму», и повстречали Вериного отца на лестничной клетке.

Придя с озера домой, Леонид Сергеевич сказал жене, что Вера повидал, все у нее хорошо, и, сославшись на усталость с дороги, лег спать, мол, завтра все расскажет. Ночью Катерина Ивановна проснулась от громкого вскрика. Поглядела на мужа, а он лежит с открытыми глазами, в потолок смотрит и молчит. Через неделю похоронили Леонида Сергеевича.

Вера на похороны прилетела. Вошла в дом в черной кофынке и черных туфлях — приехала не одна — с ребенком: мальчик, Сашей его звали, и на деда был сильно похож. По приезде Веры Катерина Ивановна по-женски сразу почувствовала, что не все так хорошо у Веры, как она говорит: дома сидит, на улицу даже с сыном гулять не выходит и молчаливая стала — слова не вытянешь, а то такая болтушка раньше была.

— Где ж отец-то Сашин? Что с тобой не приехал?», — спросила Катерина Ивановна дочь. — Познакомила бы хоть с зя-

тем.

— Нет отца — мой он, только мой! — дерзко ответила Вера так, будто ждала этого разговора.

— Понятно, — тихо и зло сказала Катерина Ивановна. — То-то Леонид Сергеевич радостный такой приехал от тебя: аж целую неделю еще пожил.

— Ладно, мам, давай не начинать этот разговор, — сказала Вера. — Каждый живет, как может. Мам, ты вот что скажи: могла бы Сашу у себя оставить? Я деньги присылать буду.

— Понимаю, «работы» много, вот он и мешает тебе, — сказала мать.

Вера промолчала и, отвернувшись, стала смотреть в окно, кусая губы: «Что ответит мать?»

— Уж конечно, Сашеньку я оставлю у себя; денег мне твоих не надо, проживем и так, — спокойно выговорила Катерина Ивановна. — Показывай, где его вещи и что тут к чему! И уезжай поскорей, а то слухи по всему городку пошли. А ты, доченька, когда в зеркало смотреться будешь — небось, часто приходится — повнимательней присмотрись: похоть в глазах твоих такая, что никакой косметикой не замажешь. Ох, Верка, Верка, не пожалеть бы тебе когда-нибудь, да, может, уже поздно будет.

На следующий день рано утром, когда город еще спал, Вера уехала из Слюдянки. Она возвращалась в Москву тем же путем, что и отец ехал к ней. Это была последняя дань памяти папе, которого она любила всей душой. К матери она

почему-то относилась равнодушно, хотя и ругал-то ее, если что, именно отец.

Как-то ночью сидит Катерина Ивановна у кроватки, смотрит на спящего маленького Сашу и говорит сама себе тихо:

— Вот кому род того безымянного казака-землепроходца продолжать и деда твоего — Леонида Сергеевича, царство ему небесное. Эх, и любил бы тебя дед! Да не судьба, видать, была встретиться вам!

Прошло пятнадцать лет.

Вера Леонидовна сидела на скамье купе вагонзака и через решетку дверей купе смотрела в окно в коридоре. С самого начала этапирования, используя свою наглость и опыт общения с криминалом, она захватила власть в купе в свои руки. Ее везли в колонию Читинской области. Давно уже были поделены полки в купе, закончились все знакомства-разборки, и кто с синяками под глазами, с затаенной злобой и желанием отомстить обидчице на зоне, и кто с поцарапанным лицом, смирившись с установившимся порядком, — все молча смотрели на непрозрачные стекла окон. Иногда сквозь вагон по коридору проходил кто-то из охраны, стуча дубинкой по решеткам купе, не давая спать задремавшим; вслед охраннику слышался тихий мат, и все стихало.

Ехали медленно, вагон находился в пути уже седьмые сутки, то находясь в отстойнике, то снова прицепляясь в конец

очередного пассажирского поезда. В Иркутске вагон опять загнали на специальную охраняемую зону, где он ожидал очередной отправки.

Вагонзаки имели свои особенности: окон в купе не было, а с другой стороны купе закрывались дверьми-решетками с маленьким окошком для раздачи еды. Напротив купе вдоль коридора стеклянные окна были с решетками. То ли стекло было матовое, то ли покрыто пылью и льдом – была зима – но видны в них были только мелькающие силуэты.

Вера Леонидовна и так знала, что сначала будет затяжной подъем на перевал, потом медленный спуск по серпантину к Байкалу, и вскоре поезд сделает в городе Слюдянка – ее родном городе – остановку минут на пятнадцать.

Наконец тронулись. Вера и не предполагала, что будет так сильно щемить грудь по мере приближения к Слюдянке; ей казалось, что все уже переболело и позабыто, но в памяти стали возникать образы родных. «Как Саша, жива ли мать, – неизменно возвращающая посланные Верой деньги? – Пять с половиной лет! Кому я буду нужна? Пусть я исчезну для Саши навсегда, лишь бы он так и не узнал обо мне ничего». Отец, как надеялась Вера, так и не рассказал матери ничего. «Значит, и сын не знает ничего обо мне!» – думала она.

На станции Слюдянка поезд простоял пятнадцать минут. За все это время Вера даже не заметила, как капала на пол кровь: так врезались ногти в ее ладони. Но вот поезд тронулся, все дальше, где-то в прошлом оставляя и родной город, и

родных людей. «Родные ли, через столько-то лет? Как я оказалась в этом вагоне?»

Уже через два года, как она отвезла сына Сашу к маме, Вера, используя свою неуемную энергию, внешние данные и знакомство с главой криминальной крыши, стала полной хозяйкой в той яме-притоне, куда судьба занесла ее. Теперь она была сутенершей, а по-бллатному – Мамочкой. Девочки отдавали хозяйке долю своих доходов, а те, кто не имел жилья и потому ночевал в этой же квартире, платили и за проживание. Клиентов было много, и Вера решила расширить дело. Прошло еще три года, и у нее уже было три притона. Все эти квартиры представляли собой бывшие коммуналки. Часть комнат всегда оставалась свободной для клиентов, которым некуда было вести девушку; на кухне рядом с выходом из квартиры постоянно находились один-два спортивного вида парня: крыша. Она уже имела большую квартиру в Москве и дорогую машину. Но желание иметь больше вынуждало ее думать, как бы заработать еще. Помог случай: как-то на улице она услышала знакомый голос:

– Ну, ты цветешь! – сказала Настя, ее школьная подруга, оглядев восторженно Веру. – Прямо дама благородных кровей. Тебя теперь как называть-то? Верой Леонидовной?

– Да что ты, Настя? Шутишь? Ты-то как? – спросила Вера, глядя на рано постаревшее, в морщинах, лицо бывшей подруги: суровый сибирский климат делал свое дело.

— В Слюдянке в заготконторе работаю, по пушнине, — ответила Настя. — Сюда в Москву в командировку послали.

— А мои-то как там? — спросила Вера и тут же пожалела об этом.

— Сашка в школе учится, мама хворает. В общем, живут! — ответила Настя и замолчала.

Первой прервала затянувшееся молчание Вера:

— Тебе куда ехать-то? Могу подвезти.

Настя мельком взглянула на шикарную машину:

— Я уж пешочком погуляю, когда еще выпадет оказия в столице побывать?

Так и расстались. Настя резко повернулась и быстрым шагом стала удаляться. «А ведь про своих спросила без всякого интереса. Стерва эта Верка! Не буду дома говорить о встрече с ней!»

Вера села за руль и задумалась; что-то ей напомнил разговор с бывшей подругой. И вдруг ей вспомнились слова знакомого сутенера Сергея Яковлевича, что истинные ценители женщин предпочитают дам постарше, лет 30-45: красивых, солидных и все умеющих, а еще он сказал, что заработки очень большие. Сергей Яковлевич предлагал ввести ее в определенный круг чиновников и деловых людей, которые могли бы стать ее клиентами. Он предлагал свои услуги за определенный разовый процент за каждого нового клиента. Вера тут же набрала его номер и сказала, что она согласна на его предложение; они договорились о встрече.

Встретились днем на следующий день в маленьком ресторанчике в центре Москвы. Было рано, и посетителей еще не было. Взглянув на Веру, тот любезнейшим тоном, приятно улыбаясь, проговорил:

– Привет, ягодка-клубничка!

Вера тоже улыбнулась, но промолчала.

– Теперь о деле, – начал говорить Сергей и внимательно оглядел Веру. – Все, что на тебе, выбрось, ты должна выглядеть с иголочки, никаких джинсов, кроссовок: ты теперь дама и должна выглядеть как дама. Я познакомлю тебя с очень солидными людьми. Вспомни, что у тебя высшее образование, и никакого сленга, никаких жаргонов и никакого мата. Напрягись, с тобой должно быть интересно не только лечь в постель, но и общаться. Я дам тебе описание дорогих европейских блюд, вин и курортов – выучишь наизусть. Ты всегда должна быть обворожительна и ни в чем не отказывать этим людям, что бы они ни попросили. Надеюсь, ты поняла меня, остальное сама сообразишь. И еще ты теперь не Вера, а Вера Леонидовна. И не дай тебе Бог обмануть меня хоть один раз: пожалеешь.

Так прошло два года. Вера Леонидовна пользовалась большим спросом, и после первого же года работы индивидуалкой по совместительству с содержательницей притонов, купила дорогой коттедж недалеко от Москвы. Она была по-прежнему не замужем: одного раза в той истории со студентом Александром ей хватило, чтобы не стремиться заводить

собственную семью, и на мужчин она смотрела только как на объект ее криминального бизнеса.

Как-то зайдя в одну из своих ям, она обнаружила, что девочки привели в квартиру новенькую – красивую девушку лет двадцати двух и с годовалым ребенком.

– Она на все согласна, – сказал кто-то из девчонок. – Ей негде и не на что жить, и красивая, годится для нашей работы!

– Зайди-ка в свободную комнату, – сказала Вера Леонидовна. – Рассказывай все.

История девушки оказалась самой что ни на есть банальной и почти в точности повторяла историю самой Веры Леонидовны. Однако по глазам ее было видно, что только обстоятельства привели ее в притон. Ее звали Лиза. Хозяйка квартиры задумалась и медленно почти по слогам проговорила:

– Завтра поговорим, а заодно и посмотришь сама, в чем заключается работа.

Зайдя на следующее утро, Вера Леонидовна только мельком взглянув на Лизу, поняла, что та не спала всю ночь, а в глазах ее стоял ужас. Мгновенно переменив свое решение поселить Лизу в одной из комнат, хозяйка отвезла ее на своей машине к себе домой и, когда они вошли в квартиру, сказала:

– Здесь, Лизонька, будешь с ребенком жить, осваивайся, деньги в шкафу на второй полке найдешь, а что еще вам не будет хватать, напиши список. Я вечером приеду – разберем-

ся.

А про себя подумала: «Нет, не пойдет она моим путем! Пусть хоть одна чистая душа будет рядом со мной, и сына ее в чистоте воспитаем. Может, зачтется мне когда?»

Очень скоро они стали жить одной семьей как родные, а у Веры Леонидовны часто возникали приступы депрессии, и все чаще вспоминались родные. «Как хорошо было бы, чтобы мы с сыном Сашей и мамой жили бы все здесь в Москве, где все у меня устроено и налажено», – возникали у нее мысли, и вскоре она уже стала мечтать о поездке в Слюдянку.

«Приехать, кинуться в ноги – может, простят?» Но тут же задавала себе вопрос: «А притоны куда? А клиенты Сергея Яковлевича? Как без них прожить: привыкла жить, ни в чем себе не отказывая! А больше я ничего и не умею... и не хочу уметь: мне нравится такая жизнь – именно это и есть мое».

И года не прошло, как ее жадность к деньгам дала себя знать. Всего один раз скрыла она от Сергея Яковлевича то, что провела ночь с одним из его новых клиентов. Вскоре раздался звонок, и она услышала короткую, но роковую для себя фразу:

– Второго раза не будет! Я тебя предупреждал! – и в телефоне раздались короткие гудки.

На следующий день ближе к ночи во все ее три притона одновременно ворвалась полиция. Вера Леонидовна была осуждена на пять лет и шесть месяцев лишения свободы.

ды. «Жадность фраера сгубила, – подумала Вера Леонидовна, тяжело вздохнув, давно уже привыкнув к блатной речи. – Ничего, пять с половиной лет пройдут, а может, еще и условно досрочно освободят за хорошее поведение: надо только взять себя в руки, стиснуть зубы и терпеть».

По статье полагалось ей шесть лет заключения, но адвокат, несмотря на то, что, как доказывал прокурор, она фактически бросила собственного ребенка, все-таки убедил суд в том, что содержание Лизы с ребенком надо считать смягчающим вину обстоятельством.

На пятый год ее заключения в колонии, после всех унижений и отчаяния, стало нарастать чувство одиночества, жалости к себе, и все чаще появлялось желание покончить с собой. Тут-то она и прочувствовала всю ценность смягчающего обстоятельства за то, что содержала Лизу с сыном. Постепенно эту мысль вытеснила другая: «Может, написать письмо родным: сыну и матери?» Но каждый раз она не находила слов оправдания перед ними, и лист бумаги так и оставался чистым.

«У меня же все есть: недвижимость, машина, деньги, связи, да и в том, пусть криминальном мире, но я своя – надо продолжать жить, как и жила. Никогда мать не простит меня. Хотя?.. А что они знают? Почти ничего. Отец, вернувшись тогда из Москвы, наверняка, пожалел сердце матери, ничего ей не рассказал и почти сразу умер!»

– Кулагина! На выход. Освобождение!

Условно досрочное освобождение ей не вышло: уж такой у нее был характер – упрямый, независимый, и стычки с охранниками и администрацией колонии были не редкость, пришлось отсидеть от звонка до звонка. С грустью и радостью шла она с кульком вещей по этим зарешеченным лабиринтам, где люди в нечеловеческих условиях годами сидели в камерах для того, чтобы якобы исправиться и быть неопасными для общества. Кто-то из них матерел и становился еще более опасным преступником с исковерканной душой и со злобой на весь мир, кто-то из тех, кто попадал сюда по случаю, ломался и становился безвольным существом, и тоже со злобой в душе на весь мир. Тюрьма еще никого не исправила, да и не могла исправить, поскольку изначально и не была предназначена для этого, а была только орудием мести общества оступившимся людям и людям, которых это самое общество боялось, но те, кого действительно надо было бояться – закоренелых преступников – тюрьмы-то и не боялись

«Свобода! За нее отдано пять с половиной лет жизни! – думала на ходу Вера Леонидовна. – А надолго ли эта свобода? Впереди ведь опять притоны, криминал, девочки из республик бывшего союза. В общем, опять та же грязь! Отмоюсь ли когда-нибудь? Очищусь ли душой?»

Билет она взяла на поезд, следующий до Москвы. При выходе из колонии ей вернули отобранные у нее когда-то ве-

щи, и выглядела она вполне прилично. «Хоть сейчас в гости иди!» При слове «гости» у нее на мгновение перехватило дыхание; она так и не поняла, что это было. Поездозвращался в Москву по той же Транссибирской магистрали: другой железной дороги, огибающей с юга Байкал, не было. Вера Леонидовна, как в окне поезда стало видно озеро, так и смотрела на него, не отрываясь.

Наконец короткий зимний день заканчивался и начало темнеть. Она стала разбирать свой чемодан, готовясь лечь спать. Вдруг проводница, проходя по вагону, объявила: «Следующая остановка Слюдянка; стоянка пятнадцать минут». Вера Леонидовна на секунду задумалась и быстро стала укладывать свои вещи обратно в чемодан. Затем она решительно прошла в тамбур и стала смотреть в окно вагонной двери.

– Да еще минут десять ехать, посидели бы пока в вагоне, что мерзнуть-то? – удивленно спросила проводница.

– Насиделась уже, постоять хочется, на родные места посмотреть, – ответила пассажирка.

По городу она шла медленно, не обращая внимания на то, что сибирский ветер задувал ей за воротник. Шла и вспоминала, как бегала здесь с другими детьми, играя во что-то; а этой улицей каждый день в школу ходила. Город почти не изменился за время реформ, и все также к нему примыкали сопки, поросшие тайгой.

Вот и родной дом. Вера Леонидовна удивилась, настоль-

ко он показался ей маленьким. Подошла к двери, но, не найдя кнопку звонка, постучала в окно. Выглянула мать, долго разглядывала незнакомку, а затем, узнав, быстро задернула шторки. Дверь долго не открывали, слышала, что там, в доме, о чем-то бурно спорят. «Пустят ли после всего, что было, — думала она. — А не пустят, может, и правильно сделают? Не мне обижаться!» Наконец дверь со скрипом открылась. Молча в проеме стоял Александр — молодой, красивый, высокий — копия того Александра, которого она любила когда-то и от которого родила. «Насколько же сын похож на отца! А вырос-то как?» — успела подумать она прежде, чем Саша втащил ее в дом и крепко прижался к ее груди.

— Я столько лет хотел увидеть тебя хоть раз, мама, — с трудом выговорил он.

Вера Леонидовна ничего не ответила: ком стоял в горле. Ее мать, Катерина Ивановна, стояла в стороне и только тихо всхлипывала. Сели за стол. Хозяйка накрывать ничего не стала, и Саша в полной тишине, быстро разогрев чайник, принес его вместе со стаканами и вареньем.

— Как жила эти годы, Вера Леонидовна? — с издевкой спросила мать.

И только Вера Леонидовна хотела начать, выдумывать свою работу в Москве, как Саша попытался было что-то сказать, но бабушка рукой показала, чтобы он молчал.

— Устроилась я хорошо, в крупную торговую компанию, работы много, рабочий день ненормированный. Замуж так

и не вышла. Купила квартиру, машину и коттедж совсем рядом с городом. Настю встречала в Москве, о вас спрашивала, — начала Вера Леонидовна. — Конечно, нет мне оправдания, что вас с Сашей не навещала. Решила, налажу там все и вас к себе возьму жить. Саше на хорошую работу помогу устроиться: связи есть, а то здесь, кроме как на железной дороге, и работать негде. А там такие возможности — столица. Поехали со мной в Москву: жить и работать по-человечески будете. Да и тебе, мама, о здоровье подумать пора, хватит горбатиться.

Вера Леонидовна говорила и совсем не замечала, что у матери взгляд становился все жестче.

И вдруг, как обухом по голове, прозвучали слова матери:

— Ты еще добавь: «во глубине сибирских руд»! Вспомнила? Ты, доченька, думала, умер отец и с собой все унес, а он после первого удара еще четыре дня бредил, пока умер, а я все время рядом была, так что знаю, чем ты занималась там, в столице. А уж когда от тебя письма перестали приходить, стала я справки наводить, дочь все-таки, и выяснилось, что ты совсем рядом здесь срок отбываешь, и статья твоя все твое богатство объясняет: организация притонов для развода. А связи, про которые ты здесь упомянула, поди, криминальные?

Саша, слушая бабушку, все ниже склонял голову к столу, боясь поднять взгляд на мать.

Вера Леонидовна от неожиданности вся покраснела и то

открывала рот, то закрывала, не в силах что-либо сказать.

Наконец, немного прия в себя, повернулась к Саше и сказала:

– Поехали, Саша, со мной, ты бабушку не слушай, не понимает она современной жизни, так век свой и проживет среди тайги, а в мире есть еще и Канары, и Италия, и много всего! Поехали?

– Езжай, езжай, внучок, притоны будешь ей помогать содержать, – вмешалась бабушка. – Одного мы с отцом так и не смогли понять: в Евангелие сказано, что не может дерево доброе приносить плоды худые... Так в чем же мы-то виноваты? Может, ты объяснишь?

– Тебе не понять: жизнь другой стала! – сказала тихо Вера Леонидовна, даже не надеясь в душе, что ее услышат.

Ничего не ответила Катерина Ивановна, только сплюнула в сторону и отчаянно махнула рукой.

– Так поехали со мной, Саш?

Александр поднял, наконец, голову и решительно сказал:

– Нет, мам! Хочу жить с чистой совестью.

Глаза его выражали твердую уверенность в своих словах. Все молча сидели за столом, и каждый думал о чем-то своем.

– Засиделась я, пойду, – сказала Вера Леонидовна. – Проводи, Саша.

В дверях она задержалась и приблизила лицо к сыну, но тот, не поцеловав ее и отведя взгляд, сказал:

– На Москву поезд только утром, – но переночевать не

предложил, отвернулся и замолчал.

– Ты знал все обо мне? – спросила она сына.

– Нет. Бабушка про тебя такого никогда не говорила, сам услышал все это только сейчас, – ответил Саша.

– Гостиница там же?

– Да, там же, – ответил Саша. – Билетная касса на вокзале работает еще час.

Уже собираясь выйти из дома на улицу, она услышала тихие уверенные слова сына:

– Вера Леонидовна, вы больше не приезжайте к нам и писем не пишите!

Дверь за ней захлопнулась, она стояла к ней спиной и вдруг вспомнила слова отца, когда он приезжал к ней в Москву – те слова, что она услышала от него на лестничной клетке: «Нет у тебя, Вера, теперь ни отца, ни матери – забудь, гуляй и дальше». И тихим голосом проговорила:

«Так у меня теперь и сына нет!»

Вдруг опомнившись, она побежала покупать билет на утренний поезд в Москву.

Старожил

Я смотрю на старый самовар, стоящий в углу моей комнаты, и понимаю, что именно здесь моя Родина, вечно ищащая свой путь и в результате каждый раз стоящая на распутье разбитых дорог. Дальняя родня зовет в Канаду, мол, и здесь березки, а самовар заберешь с собой. «А Родину – мою Родину – с собой ведь не увезешь, да и у березок наших не кора светлая, как у вас там, а сарафанчик беленький! Ни за что я отсюда не уеду: корни мои здесь».

Моему деду Василию Осиповичу посвящаю этот рассказ.

Проселочная дорога пролегала через бывшее колхозное поле и уже сильно заросла бурьяном. Кое-где виднелись просшие березки, и когда-нибудь здесь будет березовый лес, который заполнит пустоту не только в природе, но и в русской душе людей, еще живущих в таких тихих и заброшенных, но не забытых Богом русских деревнях. Ни одного деревца не было на самой дороге: все они проросли по ее обочинам, будто еще оставляя человеку возможность возродить здесь жизнь.

Недалеко от околицы дорога терялась в разноцветье полевых трав, и только узенькая тропинка указывала на то, что жизнь здесь все-таки еще теплится.

Дед Василий был единственным коренным, а теперь уже и последним постоянным жителем деревеньки, затерявшейся среди бескрайних березовых лесов средней полосы России. Он по праву считал себя здешним старожилом: родился здесь, да так и прожил в этой деревне всю жизнь. Давно опустела родная деревня, но благодаря Василию – не умерла. Любил он эти места, где каждый кустик, каждый бугорок, каждая тропка были ему родными. Он любил и эту тишину, и это спокойствие в душе, воспринимал их как награду за честно, хотя, может, и не так, как надо бы, прожитую жизнь: добра-то не нажил, так и остался бедняком. Русская душа! Чем богаты, тем и рады.

Жена умерла давно, а детей Бог не дал: четверо их должно было быть, да еще в младенчестве не выжил ни один. Родни у деда не было, как и у жены-покойницы: так и поженились. Сейчас это обычное дело, никого не удивишь: поженились, голь перекатная, так и живите в нищете, а тогда, вспоминал дед, время другое было, да и люди другие были. Поставили молодой семье избу всей деревней, нанесли кто курицу, кто гуся, кто поросенка – вот и хозяйство новое возникло, и все с радостью да прибаутками. «Хотя люди, пожалуй, не были другими, такие же были, вот только окунулись они сейчас: о себе только и думают и равнодушными стали к чужим бедам – свои проблемы по жизни до крайности прижали их», – рассуждал Василий и оттого обиды ни на кого не держал.

Сядет, бывало, на завалинку, смотрит вокруг и вспоминает дворы, полные детворы, смех, шум, беготню, колосящиеся поля, председателя в белой рубахе, девушек, идущих с лукошками из лесу, кто с ягодой, кто с грибами. Василий мастак был лукошки из бересты делать и корзинки плести: всю деревню ими обеспечивал.

Хоть и один жил стариk, а без дела не сидел: летом огородом занимался, забор подправлял. Забор-то вроде уже давно и не нужен был: не от кого – оно-то так, да что за хозяин на Руси без забора? Так, перекати поле. Избу поконопатить надо, крышу подправить, за пасекой ухаживать: служивые из соседней воинской части за этим медком пару раз приедут с командиром и дров для печки на всю зиму заготовят, а бывало, и крышу подлатают. Побаивался уже дед наверх сам – лезть. «Вот как-нибудь скачусь с крыши, так и не встану больше, а до погоста хоть сам ползи», – пытался шутить дед, да грустно выходило.

А бывало, Василий положит в рюкзак все самое необходимое, что по силам унести было, и дня на три-четыре в лес уходит. Шалашик сложит, костерок разведет да котелок подвесит с крупой какой-нибудь. Всю жизнь мечтал в тайге оказаться и пожить там один, а вот не пришлось побывать в тех краях: работать постоянно приходилось, и дальше областного центра не ездил. Разве что в армии на Дальнем Востоке служил: вот тогда издали и тайгу, и море видел.

Осеню в меру сил ягоду и грибы заготавливал, да и мно-

го ли ему надо было? Зимой снег разгребал с дорожек, печь топил и... читал – взахлеб читал ночами; книжки-то он накопил еще при прежней власти, при жене, хоть и ворчала она. Автолавки тогда по деревням разъезжали. Религиозные книги в то время не возили, их он уж в последние годы в церковной лавке около станции покупал.

В двух километрах от деревни пролегало шоссе, а там автобусом или на попутке еще десять километров до райцентра.

Раз в месяц выходил старик с рассветом, а зимой и затемно, чтобы добраться до магазина при железнодорожной станции. Закупался самым необходимым и возвращался в деревню.

Было у него и ружье старенькое; раньше, пока силы были, на охоту ходил на уток на местные болота. А на крупного зверя, лося и кабана, никогда не охотился, считал грехом: куда ему одному столько мяса, не съест, пропадет. И хоть давно уже и не пользовался им, а ружье на стене висело.

Дед Василий помнил историю каждого дома, судьбу каждой семьи в их деревушке: кто и когда из молодых в область подался за заработками, а заодно и сбежал от тоски деревенской; кто из стариков когда помер и где захоронен. Бывало, на Пасху пойдет на деревенское кладбище и подправит: там могилку, там немудреный крест деревянный, а там, глядишь, напряжется, да и ломиком памятник выровняет. И хотя попы сейчас говорят, что в Пасху не надо на кладбищеходить,

для этого, мол, отведенные дни есть, все равно, как и раньше, ходил именно в этот день. И всем, кто лежит в родной земле – всем землякам, пусть и бывшим, хоть слово да скажет. А затем присядет, бывало, на какой-нибудь бугорок и под тихий шелест молодых березок думает: «А бывают ли они, земляки, бывшими? Кто уж здесь в бересовой роще в землю лег, тот уж навсегда земляком и останется – так, на верное? Зарос, однако, погост молодыми березками, березняк образовался взамен того, старого, что вырублен еще в давние времена, когда люди здесь только поселились. Да оно, может, так и должно быть: новая, молодая жизнь шумит над могилами», – рассуждал Василий.

Посидит в одиночку, вспоминает всех, ведь это и его жизнь прошла, да и пойдет обратно той же тропой, которую сам и протоптал. Когда-то дорожка к кладбищу от церквушки протоптана была, но уж давно нет и прихода того, что на несколько деревень был: обезлюдев край, и церковь закрылась. Теперь все тропинки начинались и заканчивались у его избы. Дед протоптал их, как ему короче было: до пасеки, до погоста... И за дровами, если их не хватило до весны, дед своей тропинкой ходил, по которой зимой сани с дровами тащил.

Идти до погоста было недалеко: через поле да перелесок. Вот только на поле, бывало, задувало лихо и приходилось шапку натягивать на уши. «Оттого и ушанкой зовется. А ку-

да без нее в холодные русские зимы? – приговаривал дед, щуря глаза от ветра, и, улыбаясь, добавлял: – И почему у нас на Руси в какую сторону ни пойди, ветер всегда в лицо? Может, стезя наша такая?»

Последней в их деревне бабка Марфа померла, так Василий три таких же деревушки обошел, чтобы еще трех мужиков сбрить в помочь на похороны.

Как деревня с одним жителем устояла? Одному Богу известно: может, потому, что неподалеку воинская часть была и километрах в двадцати подальше лагерь для заключенных был, а кабель-то электрический, что к ним пролегал, через дедову деревню тянулся.

Не раз уж ему говорили, что снесут в округе все брошенные деревни, под застройку коттеджных поселков земли отдадут. «Но когда это еще будет? Может, я и доживу свой век спокойно? Да и земли вокруг пустует много. Поживем –увидим. А люди, что остались, пусть всего-то несколько человек, а все ж люди?» – бывало, задумывался дед и не верил слухам.

Иногда ближе к ночи в полнолуние садился дед на ступеньку крыльца и смотрел, как появлялись звезды и поднималась луна. Броде и ночь наступала, а светло было как днем – каждый кустик, каждое деревце тень бросало. «Творение Божие, – думал Василий, – Эх родина ты моя! Здесь родился, жизнь прожил здесь, а когда придется, здесь и в землю родную лечь хочу».

Летом, как темнело, окна в двух домах все же светились. То пришлые были, так их дед называл.

Соседкой с Василием через забор селилась на теплое время Нюра: молодая еще, крепкая и разбитная бабенка. На зиму она медсестрой устраивалась в больницу, что в райцентре, а летом увольнялась и сюда – в деревню. Она и избу-то не подправляла, разве что дед ей крышу подремонтировал, чтобы от дождя спрятаться можно было. Грядками все занималась и цветами: простыми цветами, самыми дешевыми, что раз посадил и сами много лет растут. Любил дед сесть около забора и цветами ее любоваться. Любил смотреть, как она с грядками управляется: супружница его все вспоминалась, такая же ухватистая была. Нюра-то подол сарафана высоко подоткнет и часами возится, не разгибаясь, то так, то этак к деду поворачиваясь; знала она, что ноги ее мужикам нравятся: крепкие, но не жилистые, а гладкие и манящие deda куда-то в даль прошлого. А уж как лето за половину перевалит, так только и слышно было от нее: «Огурчика хочешь, дед Василий?» Такая могла бы и еще чего предложить, да только стар был дед для озорства: время его вышло, отгулял свое.

Через три участка от деда мужик в избе поселился, только, скорее, бомжевал он в этой избе, а не жил; говорил, что Валентином зовут. Ни разу дед не видел, чтобы мужик тот по хозяйству что-то делал, а только рано утром частенько уходил куда-то и вечером сильно уставший, тяжело дыша, воз-

вращался, неся мешок на себе, и обязательно с водкой Валентин каждый вечер был. Видать, на районную свалку ходил. Тоже, надо сказать, работенка: туда десять да обратно десять километров, выходило на круг двадцать. Далековато, пусть даже и на попутке ехал часть пути. А еще служивым сигареты и водку продавал или на вещи выменивал. Валентин тот жил в деревне весь год. Вот частенько долгими зимними вечерами сталкивались они вдвоем с дедом о смысле жизни – о том, как правильно жить.

– А зачем работать, дед? Я не работаю, а смотри, и сыт, и пьян каждый день. И Господь наш в Евангелии говорил ученикам своим, что вы, мол, кто со мной пойдет, чтобы ничего с собой не брали: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут… и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?»

– Оно-то так, да в народе говорят: «На Бога надейся, а сам не плошай!» – возражал дед.

Умный был Валентин, начитанный: тоже по вечерам, хоть и с водкой, а все книжки читал. Никак его дед переспорить не мог, что, как сам жизнь прожил, так и другим надо ее в поте лица прожить. Но друг без друга уже и не могли они: нет-нет и придет вечерком Валентин к деду поговорить. Да и дед, бывало, все на часы поглядывает, когда же тот объявит-ся.

Так и жили в деревне: втроем летом – зимой вдвоем.

Как-то в зимний вечер дед с Валентином сидели в дедовой

избе, чай пили, хотя Валентин все порывался почаще водочки в рюмки наливать, но Василий за этим строго следил: «Не ровен час, развезет Валентина, как и любого алкоголика, так что придется его либо спать у себя укладывать, либо нести на себе в его избу».

Старик предложил проветрить избу, а то накурили, а за одно и самим свежего воздуха вдохнуть. Вышли во двор – а тут кусты, деревья все в снегу стоят, редкий снег искрится снежинками, а на сугробах яркими звездочками переливается, луны и звезд не видать, а небо светлое.

Вернулись в избу, начали разговор о романе «Война и Мир».

– Длинный роман, затянутый и кончается ничем, – сказал Валентин. – Сократил бы его раза в три, ничего бы не изменилось, суть осталась бы той же.

– Бывает, человек всю жизнь читает, а до сути так и не может добраться, – ответил Василий задумчиво. – Может, и ты, Валентин, так и не понял Льва Николаевича? А ведь он и сам-то всю жизнь суть жизни искал. А еще может быть, что и не нашел он суть-то, оттого и роман так кончается?

– Ладно, дед, давай нальем, тут без водки не разберешься, – сказал Валентин.

Василий пить отказался, да и пил-то он помалу, каждый раз приговаривая про себя: «Прости, Господи, за грехи мои», – налил себе чая.

Ну а Валентин один махнул рюмку.

Посидели, помолчали, каждый о своем о чем-то задумался. И вдруг оба вздрогнули. Переглянулись – может, послышалось. Но через некоторое время опять какое-то царапанье в дверь.

– Ты, дед, дверь-то не забыл закрыть? – шепотом спросил Бомж.

– Закрыто, точно говорю, – ответил дед, подошел к двери и еще раз подергал за дверную ручку.

– Кто там? – негромко, но придав голосу твердость, спросил старик.

– Откройте, совсем до смерти замерзну, – раздался слабый шепот с сильной хрипотцой.

Бомж сорвал со стены старое дедовское ружье, забился в угол избы и почти прокричал, дрожа от страха:

– Не открывай, ни за что не открывай! Патроны где, дед?

Дернулся Василий к чулану, а потом опомнился:

– Нет патронов, почитай, лет двадцать как нет, – а сам нарочно подошел к комоду и ящики из него выдвинул и задвинул, делая вид, что искал патроны.

Подскочил Валентин к комоду и все из ящиков на пол вытряхнул – действительно, нет патронов. Отбросил ружье и схватил нож со стола. Посмотрел на него дед: стоит, ощетинился весь, а вид-то у него жалкий, и нож в руке трясеется. «Такой и не поможет, если что, на себя надеяться надо».

Взял Василий кочергу у печки, подошел к двери и еще раз спрашивает:

— Ты, мил-человек, кто будешь-то?» — а сам посмотрел в дверной глазок и разглядел, что парень лежит.

— До смерти ведь замерзну, пустите! Чуть отогреюсь и уйду.

Немного подумав, отодвинул тихонечко дед защелку на двери, подождал еще и резко открыл настежь дверь, держа кочергу наготове. Глядит — солдатик молодой.

— А что лежишь-то, вставай, — сказал дед.

— Не могу: нога поранена, подвернулся, пока по лесу плутал.

Василий помог ему вползти в избу, раздел и усадил на диван, дал ему чая и спрашивает:

— Что ж случилось с тобой? Воинская часть-то всего в семи километрах будет?

— Подожди, дед, дай отдохнуться. Иваном меня зовут, — только и выговорил гость, а у самого руки, ноги — все тело тряслось.

— Сейчас, дед, за водкой сбегаю к себе, есть у меня еще бутылка, а то, не ровен час, помрет солдатик, — на бегу, оглянувшись, проговорил Валентин.

Когда Валентин вернулся, вместе с дедом раздели служивого, растерли водкой и укутали в тулуп. Правая нога ниже колена была сильно опухшая. Сели рядом с диваном и ждут.

— Давай, дед, вправлю я ему ногу-то, мне уж приходилось, — предложил Валентин. — Может, тогда он и до шоссе как-нибудь доковыляет? А то ведь не донести нам его.

— Сани для дров у меня есть, впряженемся и дотащим, — от-

ветил Василий. – А там в медсанчасти пусть и разбираются.

Вскоре солдат пришел в себя и, хоть колотило его сильно, рассказал, что был в увольнительной, в райцентр ездил, а обратно попуткой по шоссе добирался:

– Машина на морозе заглохла; час шофер возился, пока наконец не сказал, что ничего сделать не сможет здесь, на дороге. Мол, разведет костер и будет ждать помошь. А у меня увольнительная к вечеру заканчивается. Вот и решил направляться через лес пойти, да только леса у вас тут какие-то запутанные, а может, просто стемнело. Вскоре я совсем сбился с пути – пошел наугад, как вдруг увидел огонек среди деревьев, ну и с радости почти что побежал в вашу сторону. Вдруг боль в ноге сильная, аж сознание потерял. Очнулся, вижу, нога-то моя правая в яму какую-то провалилась. Что делать? Пополз на огонек. Так и дополз до твоей избы, дед. Лег на крыльцо и плачу: думаю, что никто глухой ночью чужого в избу не пустит. Спасибо тебе, дед, что спас, и тебе спасибо, – добавил солдат, поглядев на Валентина.

Валентин ничего не сказал, лишь отвернулся, и слеза скатилась у него по щеке, а сам подумал: «Бутылку водки я на него истратил, вот пусть за это и «спасибо» его мне».

– Что, парень, пришел в себя? – спросил дед Василий. – Лежать-то тебе особо и некогда.

Укутали парня, положили на сани для дров да и впряженлись вдвоем: дед и бомж. Всего два километра до шоссе, а дорога-то снегом завалена. Ругались про себя на чем свет стоит, а

тащили сани. Валентин думал о том, что пропала водка: проторезвел он совсем, и теперь предстояло ему мучиться, пока другой бутылкой не разживется.

Дед впрягся в сани спереди: здесь не сачканешь, пожалел бомжа: «Какое у него здоровье? Пропил уж все, только на болтовню о книгах силы и остались», – думал он про себя.

Через час дошли до шоссе, еще минут двадцать ловили машину, объяснили все водителю, уговорили подбросить парня до воинской части. На обратном пути Валентин просто шел за санями, дед один сани тащил. Назад идти было легче: по своей же колее. Через полчаса уже около дедовой избы оказались. Валентин ушел к себе буржуйку заново разжигать.

Дед сразу в дом не пошел, сел на крыльце и подумал: «А парень-то хороший, и по говору слышно, что не городской, неизбалованный: наша крестьянская душа – сына бы мне такого».

Прошла зима. Растворивший снег и дожди весенние наполнили землю, чтобы дать возможность зародиться новой жизни. Снова лето.

В деревне опять трое жителей: дед Василий, Нюра и Валентин. Только еще один человек частенько стал захаживать в деревню: тот самый Иван, которого этой зимой занесло к деду в избу. Как увольнительная, так он старика навещал. Простой, работающий парень оказался: дров наколет, крышу

и забор подправить поможет, да и так, что надо по хозяйству, делал. Василий ему как родной стал, а и то правда, родни-то у Ивана не было – детдомовский. Так и шел по жизни, будто на ветру стебелек качается. Не раз он деду говорил: «Армию отслужу и к тебе поселюсь, будем вместе жить», – и все на девушку заглядывался.

Огороды у деда и Нюры вдоль их общего забора приткнулись. Как скажет Иван: «Пойду в огороде поработаю», – так дед ему: «Иди, дело нужное, там сорняк все забивает», – а сам про себя ухмыляется, мол, знаем мы, что это за сорняки такие.

Иван в огород к забору, так и Нюра тут как тут, тоже в огороде вертится да подол повыше подоткнет. Два новых сарафана себе сшила: в одном работает, другой на веревочке сушится после стирки. Простенькие, а красивые сарафаны сшила, как парень в деревню хаживать стал. Бывало, разговарятся у забора, так дед и не одергивал Ивана: любо-дорого смотреть, как они воркуют. Нюра сама тоже не была городской: из Тамбовской области приехала вслед за мужем непутевым – пил! Ушла она от него, а тут и мать на родине померла, и осталась она одна, не к кому возвращаться ей было. Зимой, пока медсестрой в больнице работала, угол где-то в городе снимала, а как потеплее становилось, так сюда – в деревню. Глядя на нее, дед частенько думал: «Отчего это бабы красивые да работающие одни живут, мужиков-то полно вокруг? Может, оттого, что вера в них вся потеряна, вот и

не стремятся снова замужем оказаться и на себя только надеются?»

Бывает, Василий сидит на коньке крыши, подправляет там что-то, а на дороге к деревне видит, Ванька идет. Дед и кричит сверху, ухмыляясь: «Нюр! Твой идет, готовь огурцы». Та вся встрепенется и в дом убежит прихорашиваться да сарраф чистенький надеть.

Однажды она попросила Ивана чем-то в доме помочь. Долго Ивана не было, а вернулся раскрасневшийся весь, глаза так и светятся. «Что ж, дело молодое», – усмехнувшись, подумал старик.

Жить бы и радоваться, так нет же, к концу лета приехало начальство из района, и джип сразу же подкатил к дому Василия. Показали бумаги. Выходило, осенью начнут здесь все сносить и коттеджный поселок строить.

– А тебе, дед, выделяем квартиру в райцентре, – сообщил мордастый мужик, что справа от шофера сидел, видать, самый начальник и есть. Уперся дед, мол, не поеду никуда, да и все:

– Здесь родина моя и погост, где вся родня лежит. Хозяйство опять же. Что я в этой вашей квартире делать буду? Яйца на сковородке жарить да с бабками судачить на скамейке у подъезда? Нет. Хоть режьте – не сдвинусь я с родной земли!

– Давай по-хорошему, дед: дом-то твой деревянный, не ровен час, пожар? – сказал с прищуром мордастый.

Метнулся тогда Василий в избу, выскочил с ружьем наперевес и тихо, но твердо говорит:

— А войду в горящую избу, застрелюсь из ружья своего да и сгорю вместе с избой, вот и расхлебывайте потом. И погост не брошу: некому там, кроме меня, за порядком смотреть.

— Ну-ну, дед, ты уж и разошелся, я ж к тебе по-человечески, а ты во как повернул, — сдержав гонор, сказал мордастый.

Махнул рукой своим помощникам, мол, посоветоваться надо. Долго они за джипом в поле стояли да руками размахивали, мат слышался такой, что дед в своей жизни и не думал, что такой бывает.

Видать, закончили совещаться, подходят к Василию.

— Ты, дед, берданку-то свою опусти, так и до греха недалеко, — сказал главный. — Слушай меня, повторять не буду. Вот план застройки коттеджей, вот твоя деревня, дом твой. Кладбище в застройку не входит. А вот это тоже брошенные деревни, это линия электросети. Вот по линии электричества выбирай любой пустой дом, что понравится, обустроишься и жить будешь, документы оформить помогу. Тут еще по деревням одинокие живут. Собрать бы вас всех в одно место, да и деревушку законную оформить. Походи, попробуй, дед, с людьми договориться. Понимаю, трудно это: у каждого своя родина, и с людьми трудно разговаривать. Машину выделю, но чтобы через месяц ты место освободил. Лето уже заканчивается, так что и урожай свой с огорода со-

брать успеешь. До кладбища чуть дальше, так новую тропу протопчешь. По рукам, дед?

Помолчал дед, подумал: «А куда деваться-то?» – и со слезой на щеке выдавил из себя:

– По рукам!

– Завтра первая машина придет – не теряй времени, начинай собираться.

– И вас, женщина, чтобы через месяц здесь не было, вы на этой земле незаконно проживаете, – сказал мордастый, повернувшись к Нюре и не обращая внимания на служивого.

Затем посмотрел на Валентина и уже опять нахраписто и грубо, как умеют только начальники, добавил:

– А тебя, господин бомж, чтоб завтра же в деревне не было, все понял?

– Чего же тут не понять, гражданин начальник, – огрызнулся Валентин, демонстративно перекинув папиросу из одного угла рта в другой.

Машина укатила восвояси, а Нюра с Иваном, подождав, когда дед немножко успокоился, подошли к нему, встали рядом и стоят молча.

– Дед, а дед, – робко подергала Нюра за рукав Василия.

– Тебе чего, – спросил тот, уже догадываясь, о чем речь будет.

– Ивану на днях демобилизоваться, ехать ему не к кому, да и меня никто не ждет. Пожениться мы решили. Дед, давай вместе жить: Иван по мужскому делу поможет, я птицу

всякую разведу, поросят. Может, и корову заведем, смотри, луга-то вокруг какие. Яйца на своей кухне жарить будем. А? Дед?

Помолчал стариk, только с хитрым прищуром на молодых поглядывал, а затем говорит:

– Согласен! Вот и семья у нас будет; все как у людей! Дом у меня уже на примете есть, и даже скотный двор при нем. Вдвоем с Иваном быстро все подправим. И шоссе там совсем рядом, удобнее вам на работу до райцентра добираться. Я вас в новом доме пропишу, а помру, на том самом погосте меня и положите. А сейчас быстро собирайте все, что нужно: завтра машина первая будет, коль начальник не шутил. Инструмент и посуду в первую очередь собираите: без работы да еды не проживем.

Через месяц последней машиной окончательно уезжали они обживать новое место. Дед сидел в кузове и смотрел на удаляющийся родной дом.

Вскоре подъехали к березовому перелеску; деревня Василия вот-вот за деревьями скроется. Стучит стариk водителю в кабину: стой, мол. Шофер на ходу выглянул из кабины и с удивлением посмотрел на деда:

– Чего тебе, дед?

– А присесть на дорожку?

Машина остановилась, водитель вышел из кабины, присел на корточки и закурил. Молодые тоже отошли в сторону, о

чем-то тихо разговаривая, а Василий присел у старой берескы, что постарше его была, да так и сидел некоторое время, закрыв глаза.

Наконец сказал:

– Много в жизни я пережил, дай Бог пережить и это! Все – поехали!

Наступила осень. Серое небо частенько хмурилось, а то и моросило. По вечерам, как солнце заходило, быстро ходало.

В тот день с утра тоже было пасмурно, не слышалось пение птиц, сыпал мелкий дождик. Неожиданно все в доме услышали приближающийся гул машин.

«Строительная техника, – сразу понял Василий. – Началось!»

Нюра с Иваном выбежали на улицу посмотреть, что там. Когда вернулись в дом, хватились деда, а того нигде нет. Побежали в дедову деревню к его родному дому. Там его и нашли: нас kvозь мокрый, сидел он на ступеньке крыльца и держал старый самовар, крепко прижав его к себе, и поглаживал тот по тусклому боку. Вид у него был такой, что в пору бы ему плакать, да, видать, уж не было у старика слез: все за свою долгую жизнь выпласал. Молодые в растерянности стояли молча и смотрели на деда.

Вдруг Василий улыбнулся:

– Самовар-то, самовар, забыли! – сказал он и добавил: –

Вот кто настоящий старожил. Дед мой, а может, еще и прадед из него чай пили. Наши с ним корни все здесь. Эх, родина ты моя!»

Неожиданно небо разъяснилось, выглянуло солнышко, и мир, пусть ненадолго, но снова стал разноцветным.